



rocketbook

ФРЭНСИС СКОТТ  
ФИЦДЖЕРАЛД

*Прекрасные и проклятые*



Френсис Фицджеральд  
**Прекрасные и проклятые**

«ЭКСМО»

1922

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Сое)-44

### **Фицджеральд Ф. С.**

Прекрасные и проклятые / Ф. С. Фицджеральд —  
«Эксмо», 1922

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о начале нового века – «века джаза», стоит особняком в современной американской классике. Плоть от плоти той легендарной эпохи, он отразил ее ярче и беспристрастнее всех. Эрнест Хемингуэй писал о нем: «Его талант был таким естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки». Все мы помним потрясающий роман «Великий Гэтсби» и его блестящую экранизацию с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В этот раз Фицджеральд знакомит нас с новыми героями «ревущих двадцатых» – блистательным Энтони Пэтчем и его прекрасной женой Глорией. Дождаясь, пока умрет дедушка Энтони, мультимиллионер, и оставит им свое громадное состояние, они прожигают жизнь в Нью-Йорке, ужинают в лучших ресторанах, арендуют самое престижное жилье. Не сразу к ним приходит понимание того, что каждый выбор имеет свою цену – иногда неподъемную...

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Сое)-44

© Фицджеральд Ф. С., 1922  
© Эксмо, 1922

## Содержание

Книга I	6
Глава 1	6
Достойный человек и его одаренный сын	6
Прошлое и личность героя	8
Безупречная квартира	9
Он не прядет	10
Вторая половина дня	13
Трое мужчин	14
Вечер	17
Ретроспектива в раю	19
Глава 2	21
Дамские ножки	27
Волнение	31
Прекрасная дама	34
Неудовлетворенность	37
Восхищение	40
Глава 3	44
Две молодые женщины	48
Печальный конец шевалье О'Кифа	50
Солнечный свет и лунное сияние	54
Магия	60
Черная магия	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Френсис Скотт Фицджеральд

## Прекрасные и проклятые

Francis Scott Key Fitzgerald  
THE BEAUTIFUL AND DAMNED

© Савельев К.А., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

\* \* \*

*Посвящается  
Шейну Лесли,  
Джорджу Жану Натану  
и Максвеллу Перкинсу  
в благодарность за большую литературную помощь и поддержку*

*Победитель принадлежит трофеям<sup>1</sup>.  
Энтони Пэтч*

---

<sup>1</sup> Автором пословицы «Трофеи принадлежат победителю» (To the victor belong the spoils) является сенатор-республиканец от Нью-Йорка Уильям Мэрс, который иронически употребил эту фразу по отношению к демократам в 1832 году (*прим. перев.*).

## Книга I

### Глава 1 Энтони Пэтч

В 1913 году, когда Энтони Пэтчу исполнилось двадцать пять лет, миновало два года с тех пор, как на него – по крайней мере теоретически – снизошла ирония, этот Дух Святой наших дней. Ирония была подобна финальной полировке туфель, последнему взмаху одежной щетки; она была чем-то вроде завершающего интеллектуального штриха. Однако к началу этой истории он еще не продвинулся дальше раннего сознательного этапа своей жизни. Когда вы впервые видите его, он часто задается вопросом, не является ли он бесчестным и слегка помешанным, постыдной и непристойной смазкой, блистающей на поверхности мира, как масляная пленка на чистом пруду. Разумеется, эти моменты перемежаются с другими, когда он считает себя довольно выдающимся молодым человеком, глубоко изощренным, отлично приспособленным к своему окружению и в чем-то более значительным, чем все остальные, кого он знает.

Таково было его нормальное состояние, и оно делало его жизнерадостным, приятным в общении и весьма привлекательным для умных мужчин и для всех женщин без исключения. В этом состоянии он полагал, что однажды совершит нечто тайное и утонченное, благодаря чему избранные сочтут его достойным. Тогда он пройдет испытание и присоединится к сонму неярких звезд в туманном и неопределенном небосводе на полпути между смертью и бессмертием. Пока не настанет время для испытания, он останется Энтони Пэтчем – не застывшим портретом, но целостной и динамичной личностью, самоуверенной, высокомерной, накладывающей свою волю на обстоятельства, – мужчиной, который знает о бесчестии, но обладает честью, знает софистику мужества, но обладает храбростью.

### Достойный человек и его одаренный сын

Энтони черпал уверенность в своем общественном положении из надежного источника, будучи внуком Адама Дж. Пэтча, и способности возвести свою родословную к заморским крестоносцам. Это было неизбежно: невзирая ни на какие положения общественного договора, виргинцы и бостонцы принадлежали к аристократии, основанной исключительно на деньгах и принимающей богатство как должное.

Адам Дж. Пэтч, более известный как «Сердитый Пэтч», оставил отцовскую ферму в Территауне в 1861 году и зачислился в Нью-Йоркский кавалерийский полк. Он вернулся с войны в звании майора, штурмовал Уолл-стрит и посреди большой шумихи, раздражения, рукоплесканий и недоброжелательства выкроил себе состояние примерно в семьдесят пять миллионов долларов.

Он посвящал свои силы этому занятию до пятидесяти семи лет. Затем, после острого приступа склероза, он решил посвятить остаток своей жизни нравственному возрождению мира. Он стал реформатором из реформаторов. В подражание блистательным усилиям Энтони Комстока<sup>2</sup>, в честь которого его внук получил свое имя, он нацелил внушительную

---

<sup>2</sup> Энтони Комсток (1844–1915) – ревностный борец за нравственность, в юности едва не покончивший с собой из-за постоянного рукоблудия. Основал «Общество борьбы с пороком» под лозунгом «Нравственность выше искусства». Хватался, что сжег 60 тонн запрещенных книг. В его честь был назван «Закон Комстока», действовавший в США до 1960 года (*прим. перев.*).

батарею апперкотов и ударов по корпусу на алкоголь, литературу, аморальное поведение, живопись, патентованные лекарства и воскресные театры. Под влиянием той коварной плесени, которая в итоге покрывает все умы, кроме немногих, он яростно обрушивался на все, что вызывало его негодование. Из своего кресла в кабинете его поместья в Территауне он вел кампанию против чудовищного воображаемого врага под названием «нечестивость» – кампанию, продолжавшуюся пятнадцать лет, за время которой он показал себя оголтелым маньяком, несравненным занудой и невыносимым ханжой. В тот год, когда начинается эта история, он начал выдыхаться: его кампания стала беспорядочной, 1861 год постепенно затмевал 1895-й, а его мысли в основном были сосредоточены на Гражданской войне, в меньшей степени – на покойной жене и сыне и почти никогда – на его внуке Энтони.

На раннем этапе своей карьеры Адам Пэтч женился на худосочной тридцатилетней даме Алисии Уизерс, которая принесла ему сто тысяч долларов и обеспечила безукоризненный доступ в банкирские круги Нью-Йорка. Почти немедленно и довольно отважно она родила ему сына и, совершенно обессилев от этого подвига, ступавалась в сумрачных пределах детской комнаты. Мальчик, Адам Улисс Пэтч, стал завсегдатаем множества клубов, ценителем хорошей физической формы и любителем ездить на тандеме. В поразительном возрасте двадцати шести лет он приступил к сочинению мемуаров под названием «Нью-Йоркское высшее общество моими глазами». Слухи о его замысле вызвали живейший интерес среди издателей, но, как выяснилось после его смерти, сочинение было неуместно многословным и чрезвычайно скучным и не удостоилось даже частной публикации.

Этот достойный отпрыск Пятой авеню женился в двадцать два года. Его женой была Генриетта Лебрюн, «контральто бостонского света», и единственный плод их союза по настоянию его деда получил имя Энтони Комсток Пэтч. Когда Комсток отправился в Гарвард, он отправил среднюю часть своего имени в бездну забвения, и впоследствии о ней никто не слышал.

Молодой Энтони имел один совместный портрет своего отца и матери, который в детстве так часто попадался ему на глаза, что приобрел безликое качество мебели, но каждый, кто входил в его спальню, с интересом разглядывал картину. На портрете был изображен щеголь 1890-х годов, худошавый и симпатичный, стоявший рядом с высокой темноволосой дамой с меховой муфтой и намеком на турнюр. Между ними находился маленький мальчик с длинными и кудрявыми каштановыми волосами, одетый в бархатный костюм à la лорд Фаунтлерой<sup>3</sup>. Это был пятилетний Энтони в тот год, когда умерла его мать.

Его воспоминания о «контральто бостонского света» были расплывчатыми и музыкальными. Она пела, пела и пела в музыкальной комнате их дома на Вашингтон-сквер, иногда с гостями, собравшимися вокруг нее, – мужчины со скрещенными на груди руками затаив дыхание балансировали на краешках диванов; женщины с руками, сложенными на коленях, иногда обращались к мужчинам тихим шепотом и всегда энергично аплодировали и издавали воркующие возгласы после каждого исполнения. Она часто пела только для Энтони по-итальянски, по-французски или на странном и жутковатом диалекте, который она сама считала негритянским языком Юга.

Его воспоминания о галантном Улиссе, первом мужчине в Америке, который стал закатывать отвороты своего пиджака, были гораздо более яркими. После того как Генриетта Лебрюн Пэтч «присоединилась к иному хору», как время от времени хриплым от волнения голосом замечал ее вдовец, отец и сын жили у его деда в Территауне, где Улисс ежедневно заходил в детскую комнату Энтони и заводил приятные, густо пахнущие речи, иногда продолжавшиеся в течение часа. Он постоянно обещал Энтони поездки на охоту и рыбалку, экскурсии в

<sup>3</sup> «Маленький лорд Фаунтлерой» – детский роман Фрэнсис Ходжсон Бернетт, опубликованный в 1886 году (прим. перев.).

Атлантик-Сити – «о, теперь уже скоро», – но ни одно обещание так и не материализовалось. Одна поездка все же состоялась: когда Энтони исполнилось одиннадцать лет, они отправились за границу, в Англию и Швейцарию, и там, в лучшем отеле Люцерна, его отец умер весь в поту, со стонами и мольбами дать ему больше воздуха. В панике, отчаянии и ужасе Энтони был доставлен в Америку, где обвенчался со смутной меланхолией, которая осталась с ним до конца его жизни.

## Прошлое и личность героя

В одиннадцать лет он испытал ужас смерти. За шесть лет впечатлительного детства его родители умерли, а его бабушка неощутимо становилась все более бесплотной, пока, впервые с начала своего супружества, не приобрела на один день безусловное господство в своей гостиной. Поэтому для Энтони жизнь была схваткой со смертью, поджидавшей за каждым углом. Привычка читать в постели была уступкой его мнительному воображению; это утешало его. Он читал до изнеможения и часто засыпал при включенном свете.

Его любимым увлечением была коллекция марок: огромная и настолько всеобъемлющая, насколько это было возможно для мальчика. Дед простодушно считал, что это занятие научит его географии, поэтому Энтони переписывался с полудюжиной компаний, специализировавшихся на филателии и нумизматике, и редкий день обходился без доставки новых классеров или пакетов с блестящими листами согласования<sup>4</sup>. В бесконечном переключении своих приобретений из одного альбома в другой заключалось некое таинственное очарование. Марки были его величайшей радостью, и он раздраженно косился на каждого, кто прерывал его игры с ними; они пожирали его ежемесячные карманные деньги, и ночами он лежал без сна, неустанно предаваясь мечтательным размышлениям об их разнообразии и многоцветном великолепии.

В шестнадцать лет он почти безраздельно существовал в своем внутреннем мире, молчаливый юноша, совершенно не похожий на американца, вызывавший вежливое недоумение у своих сверстников. Два предыдущих года он провел в Европе с частным учителем, который убеждал его, что Гарвард будет лучшим выбором, который «откроет двери», послужит великолепным душевным тоником и подарит ему множество верных и самоотверженных друзей. Поэтому он поступил в Гарвард; у него просто не оставалось логического выбора.

Безразличный к общественным условностям, он некоторое время жил в одиночестве и безвестности в одной из лучших комнат Бек-Холла: стройный темноволосый юноша среднего роста с застенчивым, чутким ртом. Его денежное содержание было более чем щедрым. Он заложил основу личной библиотеки, когда приобрел у странствующего библиофила первые издания Суинберна, Мередита и Томаса Харди, а также пожелтевшее неразборчивое письмо с подписью Китса, впоследствии обнаружив, что его бессовестно обчистили. Он стал изысканным щеголем, собравшим патетичную коллекцию шелковых пижам, парчовых халатов и слишком вычурных галстуков, непригодных для выхода в свет. В этом тайном убранстве он расхаживал перед зеркалом в своей комнате или лежал на кушетке у окна в атласном белье, глядя во двор и смутно различая напряженный шум внешней жизни, в которой, казалось, ему никогда не найдется места.

На последнем курсе он с легким удивлением обнаружил, что завоевал определенную популярность у однокурсников. Он узнал, что его рассматривают как весьма романтическую фигуру, как ученого отшельника или столп мудрости. Это забавляло, но втайне радовало его,

---

<sup>4</sup> Лист согласования – филателистический термин для обозначения плотных листов бумаги, картона, пластика альбомного размера, к которым прикреплены выставляемые на продажу филателистические материалы. Предназначен для демонстрации товара и согласования с выбором покупателя (*прим. перев.*).

и он начал выходить в свет – сначала понемногу, потом все чаще. Он вступил в Пудинг-клуб<sup>5</sup>. Он пил, не выставляя это напоказ, но в полном соответствии с традицией. О нем говорили, что если бы он не поступил в колледж в таком юном возрасте, то мог бы добиться «чрезвычайных успехов». В 1909 году, когда он окончил Гарвард, ему было всего лишь двадцать лет.

Потом снова за границу, на этот раз в Рим, где он поочередно баловался архитектурой и живописью, брал уроки игры на скрипке и писал ужасающие итальянские сонеты, предположительно, размышления монаха XIII века о радостях созерцательной жизни. Среди его гарвардских знакомых прошел слух, что он находится в Риме, и те из них, которые в том году находились в Европе, вскоре навестили его и во время многочисленных экскурсий под луной разведали большую часть города, который был старше эпохи Возрождения и даже Римской республики. К примеру, Мори Нобл из Филадельфии оставался с ним два месяца; вместе они распробовали своеобразное очарование латинянок и испытали восхитительное ощущение собственной молодости и свободы в древней и свободной цивилизации. Многие знакомые деда наносили ему визиты, и будь у него желание, он мог бы стать *persona grata* в дипломатических кругах. Он и впрямь обнаружил в себе растущую склонность к непринужденному общению, но долгая подростковая отчужденность наряду с развившейся застенчивостью все еще влияли на его поведение.

Он вернулся в Америку в 1912 году из-за внезапной болезни деда и после чрезвычайно утомительного разговора с постепенно выздоравливающим стариком решил отложить идею постоянного проживания за рубежом до смерти последнего близкого родственника. После долгих поисков он снял квартиру на Пятьдесят Второй улице и вроде бы немного остепенился.

В 1913 году процесс согласования Энтони Пэтча с окружающим миром находился на завершающей стадии. Его наружность со студенческих дней претерпела изменения к лучшему: он по-прежнему был слишком худым, но раздался в плечах, а его лицо утратило испуганное выражение первокурсника. Он питал тайную страсть к порядку и всегда одевался с иголки: его друзья утверждали, что никогда не видели его непричесанным. Его нос был слишком острым, а рот – злополучное зеркало настроения – кривился уголками вниз в моменты уныния, зато голубые глаза выглядели чарующе, светились ли они умом или были полужакрыты в выражении меланхолического юмора.

Будучи одним из людей, лишенных симметричных черт, присущих арийскому идеалу, он тем не менее считался симпатичным юношей. Более того, он внешне и на самом деле был очень чистым, – той особенной чистотой, которая происходит от красоты.

## Безупречная квартира

Пятая и Шестая авеню казались Энтони стойками гигантской лестницы, простиравшейся от Вашингтон-сквер до Центрального парка. Поездка на верхнем этаже автобуса из центра города к Пятьдесят Второй улице неизменно вызывала у него ощущение подъема по длинному ряду ненадежных перекладин, и когда автобус останавливался на его собственной перекладине, он испытывал нечто сродни облегчению, спускаясь на тротуар по шатким металлическим ступеням.

После этого ему оставалось пройти полквартила по Пятьдесят Второй улице мимо громоздкого семейства особняков с отделкой из бурого песчаника, а потом он мигом оказывался

---

<sup>5</sup> Имеется в виду «Клуб быстрого пудинга», основанный Хорасом Бинни в 1795 году для студентов и выпускников Гарварда. Каждую неделю два члена клуба, выбранные в произвольном порядке, должны готовить импровизированный пудинг для остальных. Это старейший студенческий клуб в США; его членами были четыре президента, включая Рузвельта и Кеннеди (*прим. перев.*).

под высоким потолком своей огромной гостиной. Это было замечательно. Здесь, в конце концов, начиналась настоящая жизнь. Здесь он завтракал, спал, читал и развлекался.

Сам дом был построен в девяностые годы из мрачного камня; в ответ на растущую потребность в небольших квартирах каждый этаж был тщательно реконструирован и сдавался отдельно. Из четырех квартир апартаменты Энтони, расположенные на втором этаже, были наиболее желанными.

В передней гостиной был прекрасный высокий потолок и три больших окна с приятным видом на Пятьдесят Вторую улицу. В своей обстановке она благополучно избежала принадлежности к какому-то определенному периоду; в ней не было чопорности, захламенности, аскетизма или декаданса. В ней не пахло ни дымом, ни благовониями; она казалась возвышенной и неуловимо меланхоличной. Там имелась глубокая кушетка, обитая мягкой коричневой кожей, над которой туманной дымкой реял дух дремоты. Там стояла высокая ширма с китайской лаковой росписью, покрытая геометрическими образами рыбаков и охотников в черном и золотом цвете; она отгораживала угловой альков с вместительным креслом под охраной торшера с оранжевым абажуром. Герб в четырех четвертях, расположенный на задней стенке камина, закоптился до сумрачной черноты.

Миновав гостиную, которая, поскольку Энтони только завтракал у себя дома, оставалась всего лишь блестящей потенциальной возможностью, и пройдя по сравнительно длинному коридору, вы приближались к средоточию квартиры: спальне и ванной Энтони.

Обе комнаты были громадными. Под потолком первой даже величественная кровать с балдахинном, казалось, имела средние размеры. Экзотический ковер из алого бархата на полу был мягким, как овечье руно, под его босыми ногами. По контрасту с довольно напыщенной спальней его ванная комната была нарядной, яркой, чрезвычайно удобной и даже слегка игривой. На стенах висели обрамленные фотографии четырех прославленных театральных красавиц того времени: Джулия Сандерсон из «Солнечной девушки», Инны Клэр из «Юной квакерши», Билли Берк из «Осторожно, окрашено!»<sup>6</sup> и Хейзел Даун из «Дамы в розовом». Между Билли Берк и Хейзел Даун висел эстамп с изображением заснеженного поля под холодным и грозным солнцем; по словам Энтони, это символизировало холодный душ.

Ванна, оборудованная оригинальной подставкой для книг, была просторной и низкой. Стенной гардероб рядом с ней ломился от белья, достаточного для троих мужчин, и от целого поколения шейных платков. Пол был устлан не узким ковриком, подобием облагороженной тряпки, а роскошным ковром, подобным тому, что в спальне, – чудом мягкости, едва ли не массиравшем влажные ноги, вылезавшие из ванной...

В общем и целом это была колдовская комната. Легко понять, почему именно здесь Энтони одевался и укладывал свою безупречную прическу; фактически он занимался здесь всем, кроме сна и еды. Ванная была его гордостью. Ему казалось, что если бы он имел любимую женщину, то он повесил бы ее портрет прямо напротив ванны, где, затерянный в успокоительных струйках пара, исходящих от горячей воды, он мог бы лежать, смотреть на нее и предаваться нежным, чувственным мечтаниям о ее красоте.

## Он не прядет

7

---

<sup>6</sup> «Осторожно, окрашено!» («Mind-the-paint, Girl!») – пьеса Артура Пинеро (1912) о восходящей театральной звезде (прим. перев.).

<sup>7</sup> Название происходит от евангельского текста: «Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них» (Лк. 12, 27) – прим. перев.

Чистоту в квартире поддерживал слуга-англичанин с необыкновенной, почти сценически уместной фамилией Баундс<sup>8</sup>, чей формализм омрачал лишь тот факт, что он носил мягкий воротничок. Если бы Баундс безраздельно принадлежал Энтони, этот изъян можно было бы исправить без промедления, но он также был Баундсом для двух других джентльменов, проживавших по соседству. С восьми до одиннадцати утра он находился в распоряжении Энтони. Он приносил почту и готовил завтрак. В половине десятого он аккуратно дергал край одеяла Энтони и произносил несколько кратких слов; Энтони никак не мог вспомнить, что это за слова, но подозревал, что они были неодобрительными. Потом он подавал завтрак на ломберном столе в гостиной, убирал постель и наконец, с некоторой враждебностью осведомляясь, не нужно ли сделать что-то еще, покидал квартиру.

По утрам, как минимум один раз в неделю, Энтони наносил визит своему брокеру. Его доход составлял немного менее семи тысяч в год по процентам от денег, унаследованных от матери. Его дед, который не позволял собственному сыну выходить за рамки весьма щедрого содержания, рассудил, что такой суммы будет достаточно для нужд молодого Энтони. На каждое Рождество он посылал внуку пятисотдолларовую облигацию, которую Энтони обычно продавал, так как он постоянно (хотя и не слишком) нуждался в деньгах.

Его общение с брокером варьировало от легких бесед на светские темы до дискуссий о надежности восьмипроцентных инвестиций; Энтони неизменно получал удовольствие от того и другого. Казалось, здание большой трастовой компании непосредственно связывает его с огромными состояниями, которые он уважал за солидарную ответственность, и заверяет его в том, что он занимает достаточно защищенное место в финансовой иерархии. Вид спешащих по делам клерков вызывал у него такое же ощущение надежности, которое он испытывал, когда размышлял о деньгах своего деда, и даже более того: дедовские деньги смутно представлялись Энтони ссудой до востребования, выданной миром Адаму Пэтчу за его нравственную добродетельность, в то время как деньги, которые крутились здесь, как будто собирались и удерживались воедино лишь непреклонной волей и героическими усилиями многих людей. Кроме того, здесь они становились чем-то более явным и определенным – просто деньгами.

Хотя Энтони порой с трудом удерживался в пределах своего дохода, он считал, что этого достаточно. Разумеется, в один прекрасный день у него будет много миллионов, а пока что он находил *raison d'être*<sup>9</sup> в замыслах создания нескольких эссе о римских папах эпохи Возрождения. Это возвращает нас к разговору с его дедом, состоявшемуся сразу же после его возвращения из Рима.

Энтони надеялся обнаружить своего деда усопшим, но по звонку с причала узнал, что Адам Пэтч снова пошел на поправку. На следующий день он скрыл свое разочарование и отправился в Территаун. В пяти милях от станции его такси выехало на тщательно ухоженную дорожку, которая шла по настоящему лабиринту стен и проволочных оград, защищавших поместье. Как говорили люди, было точно известно, что если социалисты придут к власти, то одним из первых людей, которых они убьют, будет старина «Сердитый Пэтч».

Энтони опоздал, и достопочтенный филантроп ожидал его в застекленном солярии, где он уже второй раз просматривал утренние газеты. Его секретарь Эдвард Шаттлуорт (который до своего возрождения был игроком, владельцем салуна и нечестивцем по всем статьям) проводил Энтони в комнату и представил его своему спасителю и благодетелю, как будто показывал ему бесценное сокровище.

Они обменялись формальным рукопожатием.

– Чрезвычайно рад слышать, что тебе стало лучше, – сказал Энтони.

---

<sup>8</sup> «Bounds» в буквальном переводе – «границы, ограничения» (*прим. перев.*).

<sup>9</sup> Разумное основание или смысл существования (*фр.*). Здесь уместнее второй вариант.

Старший Пэтч достал часы с таким видом, словно встретился со своим внуком лишь на прошлой неделе.

– Поезд опоздал? – мягко спросил он.

Ожидание Энтони раздражало его. Он пребывал в заблуждении, что в молодости ему удавалось вести дела с абсолютной пунктуальностью и выполнять свои обязательства ровно в срок, что было непосредственной и главной причиной его успеха.

– В этом месяце поезда часто опаздывают, – заметил он с ноткой слабого осуждения в голосе, потом глубоко вздохнул и добавил: – Садись.

Энтони смотрел на своего деда с немим изумлением, которое всегда испытывал в таких случаях. Этот дряхлый, наполовину выживший из ума старик обладал такой силой, что, вопреки мнению желтой прессы, мог прямо или косвенно купить такое количество душ, чтобы заселить Уайт-Плейнс<sup>10</sup>. Это казалось таким же невероятным, как поверить, что когда-то он был крикливым розовым младенцем.

Интервал семидесяти пяти лет его существования действовал как волшебные кузнечные мехи: первые четверть века они до краев наполняли его жизнью, а последние четверть века высасывали все обратно. Его щеки ввалились, грудь запала, руки и ноги стали вдвое тоньше прежнего. Время безжалостно отобрало его зубы, один за другим, подвесило его маленькие глаза в темно-сизых мешках, проредило его волосы, превратило их из серо-стальных в белые в некоторых местах, выжелтило розовую кожу и грубо смешало естественные цвета, как ребенок, балующийся с набором красок. Потом, через тело и душу, оно атаковало его мозг. Оно насылало ему потные ночные кошмары, беспричинные слезы и безосновательные страхи. Оно отщепило от прочного материала его энтузиазма десятки мелких, но вздорных навязчивых идей; его энергия деградировала до капризов и выходов испорченного ребенка, а его воля к власти выродилась в бессмысленное инфантильное желание иметь царство арф и песнопений на земле.

После осторожного обмена любезностями Энтони почувствовал, что от него ожидают изложения его намерений. Вместе с тем легкий блеск в глазах старика предостерегал его от немедленной огласки своего желания жить за рубежом. Энтони хотелось, чтобы Шаттлуорт проявил тактичность и вышел из комнаты, – он недолюбливал Шаттлуорта, – но секретарь уже устроился в кресле-качалке и переводил взгляд выцветших глаз между двумя Пэтчами.

– Раз уж ты здесь, то должен чем-то заняться, – мягко сказал его дед. – Ты должен что-то совершить.

Энтони ждал, что дед добавит «оставить что-нибудь после себя». Потом он заговорил: – Я думал... мне казалось, что я лучше всего подготовлен для сочинения...

Адам Пэтч поморщился, вероятно, представив семейного поэта с длинными волосами и тремя любовницами.

– ...труда по истории, – закончил Энтони.

– Истории? Истории чего? Гражданской войны? Революции?

– Э-ээ... нет, сэр. Истории Средних веков.

Одновременно у Энтони возникла идея об истории папства эпохи Возрождения, преподнесенной под другим углом зрения. Тем не менее он был рад, что сказал о Средних веках.

– Средневековье? А почему не твоя родная страна, о которой ты кое-что знаешь?

– Видите ли, я так долго жил за границей...

– Не понимаю, с какой стати ты должен писать о Средних веках. Мы называли их Темными веками. Никто толком не знает, что там происходило, и никому до этого нет дела. Они закончились, и дело с концом.

---

<sup>10</sup> Уайт-Плейнс – город в штате Нью-Йорк с населением примерно 50 000 человек (*прим. перев.*).

Он еще несколько минут продолжал распространяться о бесполезности подобных сведений, естественно, упомянув об испанской инквизиции и «монастырской коррупции». И наконец:

– Как думаешь, ты сможешь заниматься какой-то работой в Нью-Йорке? Ты вообще-то намерен работать? – Последние слова были произнесены с едва уловимым цинизмом.

– Думаю, да, сэр.

– И когда ты закончишь свой труд?

– Э-э-э, понимаете, нужно будет составить общий план. Понадобится масса предварительного чтения.

– Я полагал, что ты уже достаточно долго занимался этим.

И без того неровная беседа довольно резким образом подошла к завершению, когда Энтони встал, посмотрел на часы и заметил, что во второй половине дня он назначил встречу со своим брокером. Он собирался на несколько дней остаться со своим дедом, но утомился и пребывал в раздраженном состоянии из-за качки во время плавания и совершенно не желал выслушивать изощренные ханжеские нападки. Поэтому он обещал вернуться через несколько дней.

Тем не менее в результате этой встречи работа вошла в его жизнь как постоянная идея. За год, миновавший с тех пор, он составил несколько списков авторитетных источников, даже экспериментировал с названиями глав и разделением своей работы на хронологические периоды, но к настоящему времени не существовало ни одной написанной строчки, и такая вероятность не просматривалась. Он ничего не делал, но вопреки общепризнанным прописным истинам ему удавалось получать от этого недурное удовольствие.

## Вторая половина дня

Стоял октябрь 1913 года, середина недели сплошь из приятных дней, когда солнечный свет разливался по перекресткам, а воздух казался таким истомленным, что прогибался под призрачным весом падающих листьев. Было приятно сидеть у открытого окна, лениво дочитывая главу «Едгина»<sup>11</sup>. Было приятно зевнуть после пяти вечера, бросить книгу на стол и неспешно направиться по коридору в ванную, напевая себе под нос.

К тебе... о пре-крас-ная леди, –

пел он, открывая кран,

Я устремляю... свой взор;

О тебе... о пре-крас-ная леди,

Мое сердце болит...

Он повысил голос, чтобы заглушить шум воды, льющейся в ванну. Глядя на фотографию Хейзел Даун, висевшую на стене, он приложил к плечу невидимую скрипку и легко провел по струнам фантомным смычком. Тихое гудение через сомкнутые губы изображало звук скрипки. Секунду спустя он перестал вращать руками, потянулся к рубашке и стал растягивать ее. Полностью обнаженный и принявший атлетическую позу, как человек в тигровой шкуре на рекламном плакате, он удовлетворенно рассмотрел себя в зеркале и оторвался от этого зрелища, чтобы осторожно попробовать ногой воду. Отрегулировав краны и издав несколько кряхтящих звуков в предвкушении блаженства, он скользнул внутрь.

---

<sup>11</sup> «Едгин» (анаграмма от «нигде») – утопический роман Сэмюэля Батлера 1872 года (*прим. перев.*).

Когда он привык к температуре воды, то погрузился в состояние сладкой дремоты. По окончании банной процедуры он неторопливо оденется и прогуляется по Пятой авеню до «Рица», где у него был заказан обед с двумя наиболее частыми компаньонами, Диком Кэрэмелом и Мори Ноблом. Потом они с Ноблом отправятся в театр, а Кэрэмел, вероятно, поспешит домой и вернется к работе над книгой, которую он собирался закончить в ближайшем времени.

Энтони был рад, что не собирается работать над своей книгой. Сама идея о необходимости сидеть на одном месте и что-то придумывать – не только слова, облекающие мысли, но и мысли, достойные быть облеченными в слова, – казалась абсурдной и находилась за пределами его устремлений.

Покинув ванну, он навел на себя лоск с кропотливой внимательностью чистильщика обуви. Затем он направился в спальню и, насвистывая причудливую неопределенную мелодию, стал расхаживать туда-сюда, застегивая пуговицы, поправляя одежду и наслаждаясь теплотой толстого ковра под ногами.

Он закурил сигарету, выбросил спичку в открытую фрамугу и помедлил, держа сигарету в двух дюймах ото рта, который слегка приоткрылся. Его взгляд сосредоточился на ярком цветном пятне на крыше дома немного дальше по улице.

Это была девушка в красном, несомненно шелковом пеньюаре, сушившая волосы под ранним вечерним солнцем, еще сохранившем свой жар. Его свист затих в неподвижном воздухе; он осторожно подошел на шаг ближе к окну и внезапно осознал, что она прекрасна. На каменном парапете рядом с ней лежала подушка того же цвета, что и ее одеяние; облокотившись на нее, девушка глядела вниз, в освещенный проход между домами, откуда доносились крики играющих детей.

Несколько минут Энтони наблюдал за ней. В нем что-то шевельнулось, – нечто такое, что нельзя было объяснить теплыми предвечерними запахами или блистательной яркостью красного шелка. Он остро ощущал красоту девушки, а потом внезапно понял. Это было расстояние между ними, – не редкая и заветная дистанция между двумя душами, но все же расстояние, исчисляемое в обычных ярдах. Их разделял осенний воздух, крыши и невнятные голоса. Однако на одну почти необъяснимую секунду, вопреки природе застывшую во времени, его чувство было более близким к обожанию, чем во время самого страстного поцелуя.

Он закончил одеваться, нашел черный галстук-бабочку и аккуратно поправил его перед трельяжем в ванной. Поддавшись внезапному порыву, он быстро вернулся в спальню и снова выглянул в окно. Теперь женщина стояла; она откинула волосы назад, и он мог хорошо видеть ее. Она была полной, не меньше тридцати пяти лет на вид и совершенно непримечательной. Цокнув языком, он вернулся в ванную и поправил свой прибор.

К тебе... о пре-крас-ная леди, –

беспечно пропел он,

Я устремляю... свой взор...

С последним взмахом щетки, придавшим его волосам гладкий шелковистый отлив, он покинул ванную, вышел из квартиры и направился по Пятой авеню к отелю «Риц-Карлтон».

## Трое мужчин

В семь вечера Энтони и его друг Мори Нобл сидят за угловым столиком на прохладной крыше. Мори Нобл больше всего похож на большого, статного, импозантного кота. Он

почти непрерывно моргает и жмурит узкие глаза. У него гладкие прямые волосы, которые выглядят так, словно их облизала мама-кошка, – и если так, то она должна иметь поистине великанские размеры. Во время их учебы в Гарварде его считали самой блестящей и неповторимой личностью в группе – самым оригинальным, толковым, спокойным и причисленным к кругу избранных.

Это человек, которого Энтони считает своим лучшим другом. Это единственный из всех его знакомых, которым он восхищается и которому завидует в большей степени, чем готов признаться самому себе.

Сейчас они рады встрече друг с другом; их взгляды исполнены теплоты, и каждый в полной мере испытывает эффект новизны после недолгой разлуки. Присутствие одного успокаивает и расслабляет другого; Мори Нобл, судя по выражению его холеного лица, до нелепости похожего на кошачью мордочку, почти готов замурлыкать. А Энтони, обычно нервный и беспокойный, как блуждающий огонек, теперь наконец безмятежен.

Они ведут один из тех легких разговоров с обменом короткими фразами, какой могут вести только мужчины до тридцати лет или люди, испытывающие сильное напряжение.

ЭНТОНИ: Уже семь часов. Где Кэрэмел? (*Нетерпеливо*): Пора бы ему уже закончить этот бесконечный роман. Я не ел уже больше...

МОРИ: Он придумал новое название. «Демон-любовник» – неплохо, а?

ЭНТОНИ (*заинтересованно*): «Демон-любовник»? А, «где женщина о демоне рыдала»<sup>12</sup>... да, неплохо! Совсем недурно, как думаешь?

МОРИ: Весьма хорошо. Как ты сказал, сколько времени?

ЭНТОНИ: Семь часов.

МОРИ (*прищурившись – не раздраженно, но с выражением легкого неодобрения*): На днях совсем задурил мне голову.

ЭНТОНИ: Как?

МОРИ: Своей привычкой вести записи.

ЭНТОНИ: Я тоже пострадал. Кажется, вчера вечером я сказал что-то такое, что показалось ему важным, но он забыл, что именно, поэтому напустился на меня. Сказал: «Разве ты не можешь сосредоточиться?» А я ответил: «Ты доводишь меня до слез своей занудливостью. Как я могу вспомнить?»

(*Мори беззвучно смеется, растянув лицо в ироничной понимающей улыбке.*)

МОРИ: Дик не обязательно видит дальше, чем кто-либо другой. Просто он может записать большую часть того, что видит.

ЭНТОНИ: Это весьма впечатляющий талант...

МОРИ: О да, впечатляющий!

ЭНТОНИ: А энергия, – амбициозная, целенаправленная энергия! Он такой занятный; его общество всегда бодрит и волнует. Иногда слушаешь его затаив дыхание.

МОРИ: О да.

*Короткая пауза.*

ЭНТОНИ (*его худое, неуверенное лицо принимает наиболее уверенное выражение из всех возможных*): Но это не энергия упорства и непреклонности. Когда-нибудь, мало-помалу, она истощится, а вместе с ней пропадет и его впечатляющий талант, и останется лишь тень человека, капризная, болтливая и эгоистичная.

МОРИ (*со смехом*): Вот мы тут сидим и клянемся друг другу, что маленький Дик видит вещи не так глубоко, как мы. Но готов поспорить, что он ощущает некоторое превосходство со своей стороны, – превосходство творческого ума над критическим умом, и все такое.

---

<sup>12</sup> «By woman wailing for her demon-lover» – строка из стихотворения С. Т. Кольриджа «Кубла-Хан» (*прим. перев.*).

ЭНТОНИ: Да, но он ошибается. Он склонен с энтузиазмом предаваться миллиону глупых мелочей. Если бы он не был так поглощен реализмом и в результате смог бы примерить одежды циника, то был бы достоин доверия как религиозный лидер колледжа. Он идеалист. О да, это так. Он не считает себя идеалистом, поскольку отвергает христианство. Помнишь его в колледже? Он проглатывал одного писателя за другим: идеи, технику, персонажей. Честертон, Шоу, Уэллс – каждого с такой же легкостью, как предыдущего.

МОРИ (*все еще обдумывая свое последнее замечание*): Да, помню.

ЭНТОНИ: Это правда. Он натуральный фетишист. Возьмем хотя бы живопись...

МОРИ: Давай сделаем заказ. Он будет...

ЭНТОНИ: Разумеется. Я говорил ему...

МОРИ: Вот он идет. Смотри, он сейчас столкнется с тем официантом. (*Поднимает палец, подавая сигнал; это выглядит так, словно кот выставил мягкий и дружелюбный коготь.*) А вот и ты, Кэрэмел.

НОВЫЙ ГОЛОС (*энергично*): Привет, Мори. Привет, Энтони Комсток Пэтч. Как поживает внук старого Адама? Дебютантки все еще преследуют тебя?

РИЧАРД КЭРЭМЕЛ невысокий и светловолосый; ему предстоит облысеть к тридцати пяти годам. У него желтоватые глаза – один поразительно ясный, а другой тусклый, как мутный пруд, – и выпирающий лоб, как у малыша из комиксов. Он выпирает и в других местах: животик пророчески выпячивается, слова как будто вываливаются изо рта, и даже карманы смокинга топорщатся от коллекции расписаний, программ и разнообразных бумажек с загнутыми уголками; на них он пишет свои заметки, болезненно прищуривая разномастные желтые глаза и призывая к молчанию незанятой левой рукой.

Подойдя к столу, он обменивается рукопожатием с ЭНТОНИ и МОРИ. Он один из тех, кто неизменно обменивается рукопожатием, даже с людьми, с которыми он встречался час назад.

ЭНТОНИ: Здравствуй, Кэрэмел, рад тебя видеть. Нам требовалась небольшая разрядка.

МОРИ: Ты опоздал. Гонялся за почтальоном по кварталу? Мы тут как раз обсуждали твой характер.

ДИК (*вперив в ЭНТОНИ взгляд яркого глаза*): Что ты сказал? Повтори еще раз, я запишу. Сегодня днем одолел три тысячи слов из первой части романа.

МОРИ: Благородный эстет. А я тут наливался алкоголем.

ДИК: Не сомневаюсь. Готов поспорить, вы уже час сидите здесь и беседуете о выпивке.

ЭНТОНИ: Мы никогда не напиваемся до бесчувствия, мой безбородый юнец.

МОРИ: Мы никогда не приходим домой с дамами, с которыми знакомимся под мухой.

ЭНТОНИ: Все наши сборища проникнуты духом высокого благородства.

ДИК: Те, кто хвастается своим умением пить, выглядят особенно глупо. Беда в том, что вы оба застряли в восемнадцатом веке. Школа старых английских сквайров. Вы тихо и мирно пьете до тех пор, пока не падаете под стол. Никогда не веселитесь как следует. Нет, так тоже не годится.

ЭНТОНИ: Готов поспорить, это из шестой главы.

ДИК: Собираетесь в театр?

МОРИ: Да. Мы намерены провести вечер в глубоких раздумьях о жизненных проблемах. Эта постановка лаконично называется «Женщина». Предполагаю, что ее ждет «расплата».

ЭНТОНИ: Боже, так вот что это такое? Давайте снова пойдем на «Фоллис»<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> «Фоллис» – серия бродвейских театральных ревю и мюзиклов по образцу парижского «Фоли-Берже», которая шла с 1907 до 1931 года. Имеется в виду один из мюзиклов (*прим. перев.*).

МОРИ: Я устал от этой постановки. Видел ее уже три раза. (*Обращаясь к ДИКУ*): В первый раз мы вышли на улицу после первого акта и нашли потрясающий бар. Когда вернулись обратно, то попали не в тот театр.

ЭНТОНИ: Провели большой диспут с испуганной молодой парой, якобы занявшей наши места.

ДИК (*как будто обращаясь к себе*): Думаю... когда я закончу другой роман, напишу пьесу и, возможно, книгу рассказов, то буду работать над музыкальной комедией.

МОРИ: Я знаю – с интеллектуальными стихами, которые никто не будет слушать. И все критики будут стенать и ворчать о добром старом «Пинафоре»<sup>14</sup>. А я все так же буду бессмысленной блистательной фигурой в бессмысленном мире.

ДИК (*напыщенно*): Искусство не бессмысленно.

МОРИ: Оно бессмысленно само по себе, но обретает смысл, когда пытается сделать жизнь менее бессмысленной.

ЭНТОНИ: Иными словами, Дик, ты выступаешь перед большой трибуной, наполненной призраками.

МОРИ: Так или иначе, дай им хорошее представление.

ЭНТОНИ (*обращаясь к МОРИ*): С другой стороны, если мир лишен смысла, зачем что-то писать? Сама попытка наделять его предназначением является бесцельной.

ДИК: Даже признавая все это, можно быть честным прагматиком и дать бедняку волю к жизни. Вы бы хотели, чтобы все вокруг прониклось вашей софистской гнилью?

ЭНТОНИ: Полагаю, что да.

МОРИ: Нет, сэр! Я считаю, что всех в Америке, кроме тысячи избранных, необходимо принудить к принятию жесточайшей системы морали – например, римско-католической. Я не жалею об общепринятой морали. Скорее, мне жаль посредственных еретиков, которые хватаются за софистические находки и становятся в позу нравственной свободы, никоим образом не соответствующую их умственным способностям.

(*В этот момент подают суп, и все, что МОРИ хотел добавить к сказанному, оказывается навеки утраченным.*)

## Вечер

Потом они посетили билетного спекулянта и втроедорога приобрели билеты на новую музыкальную комедию «Веселые шалости». Они немного задержались в фойе театра, наблюдая за толпой зрителей, приходивших на премьеру. Здесь были мириады дамских накидок, сшитых из многоцветных шелков и мехов; драгоценности, красовавшиеся на руках и шеях; капли сережек в мочках бело-розовых ушей; бесчисленные муаровые ленты, мерцавшие на бесчисленных шелковых шляпках; золотистые, бронзовые, красные и лаково-черные туфли; высокие, плотно уложенные прически у многих женщин и прилизанные, сбрызнутые водой волосы холеных мужчин, но прежде всего – накатывающие, текучие, вспененные, говорливые, хихикающие волны радостного моря людей, блистающим потоком вливавшихся в рукотворное озеро смеха...

После премьеры они расстались: Мори собирался на танцы в «Шеррис», а Энтони отправился домой готовиться ко сну.

Он медленно пробирался через вечернюю толкучку на Таймс-сквер; гонки колесниц и тысячи верных поклонников этого зрелища делали площадь исключительно яркой и красивой, почти карнавальной. Лица кружились вокруг него, калейдоскоп девушек – безобраз-

---

<sup>14</sup> Очевидно, речь идет о комической опере «Пинафор, или возлюбленная матроса» У. Гилберта и А. Салливана (1878) с романтическим сюжетом (*прим. перев.*).

ных и страшных, как смертный грех, слишком жирных, слишком худых, однако парящих в вечернем воздухе, словно приподнятых своим теплым, возбужденным дыханием. Здесь, подумал он, несмотря на свою вульгарность, они кажутся неуловимо возвышенными. Он делал осторожные вдохи, впуская в легкие аромат духов и не такой уж неприятный запах многочисленных сигарет. Его взгляд упал на смуглую молодую красавицу, сидевшую в одиночестве в закрытом такси. Ее глаза в неверном свете наводили на мысли о ночи и фиалках, и на мгновение в нем снова шевельнулось полузабытое ощущение, пережитое днем у окна.

Мимо него прошли два еврея, разговаривавших громкими голосами и бросавших по сторонам бессмысленные надменные взгляды. Они носили слишком облегающие костюмы, которые тогда считались модными в определенных кругах, серые суконные гетры и серые перчатки, лежавшие на рукоятках тростей; их отложные воротники со стойкой имели выемки у кадыка.

Прошла растерянная пожилая дама, зажатая, словно корзинка с яйцами, между двумя мужчинами, которые расписывали ей чудеса Таймс-сквер; их объяснения были такими быстрыми, что женщина, пытавшаяся изобразить беспристрастный интерес, мотала головой туда-сюда, словно заветренной апельсиновой коркой. Энтони слышал обрывок их разговора:

– Это Астор, мама!

– Смотри. Видишь вывеску о гонках колесниц...

– Мы были там сегодня. Нет, там!

– Боже правый!

– Будешь волноваться, станешь тонкой, как монетка. – Он узнал популярную остроту, громко произнесенную одним из прохожих рядом с ним.

– А я ему говорю, я ему говорю...

Тихий шелест проезжающих такси и смех, смех, смех, сиплый, как вороний грай, неустанный и громкий, рокот подземки внизу, и надо всем – круговращение света, сгущения и разрежения, – свет, нанизанный жемчужинами, возникающий и преобразующийся в сияющие полосы, круги и невероятные гротескные формы, причудливо вырезанные в небе.

Он облегченно свернул в тишину, дующую из переулка, как темный ветер, и миновал закусочную, в витрине которой дюжина жареных цыплят вращалась на автоматическом вертеле. Из-за двери доносились запахи жаркого, свежей выпечки и гвоздики. Потом аптека, от которой веяло лекарствами, пролитой содовой водой и приятными обертонами косметического отдела; потом китайская прачечная, все еще открытая, пропаренная и душная, пахнущая стиркой и незнакомым ароматическим маслом. Все эти запахи угнетали его. Когда он вышел на Шестую авеню, то остановился у табачного магазина на углу и почувствовал себя лучше: магазин был жизнерадостным, посетители, плававшие в голубой дымке, покупали роскошные сигары...

Оказавшись в своей квартире, он выкурил последнюю сигарету, сидя в темноте у открытого окна в гостиной. Впервые более чем за год он обнаружил, что наслаждается жизнью в Нью-Йорке. В ней определенно присутствовала редкая, почти южная острота ощущений. И все же иногда город наводил тоску. Энтони вырос в одиночестве и лишь недавно научился избегать уединения. В течение последних нескольких месяцев, когда у него не было вечерних занятий, он благоразумно спешил в один из клубов и находил какое-нибудь занятие. О да, здесь было одиночество...

Дым от его сигареты окружал узкие складки занавесок каймой тусклых белых струек, а кончик сигареты светился до тех пор, пока часы на башне церкви Св. Анны дальше по улице не пробили час ночи с жалобно-изысканным звоном. От эстакады в половине тихого квартала от него доносился рокот барабанов, и если бы он высунулся из окна, то смог бы увидеть поезд, похожий на сердитого орла, описывающий темную дугу за углом. Это напомнило ему недавно прочитанный фантастический роман, где города бомбили с воздушных поездов,

и на мгновение он представил, что Вашингтон-сквер объявила войну Центральному парку и что это был летящий на север смертоносный посланец, несущий воинство и внезапную гибель с небес. Но иллюзия потускнела, когда звук ослабел до слабого рокота и постепенно стих вдалеке.

На Пятой авеню звонили колокола и доносились смутные звуки автомобильных гудков, но его собственная улица была тихой, и здесь он был защищен от всех жизненных угроз, ибо его охраняла запертая дверь, длинный коридор и надежная спальня, – безопасность, безопасность! Свет дугового фонаря, сиявший за окном, в этот час напоминал луну, но был более ярким и прекрасным.

## Ретроспектива в раю

*Красота, которая возрождалась каждые сто лет, сидела в подобии приемной под открытым небом, через которую проносились порывы серебристого ветра, а иногда – запыхавшаяся торопливая звезда. Звезды интимно подмигивали ей, когда пролетали мимо, а ветер мягко, но непрестанно ворошил ей волосы. Она была непостижима, ибо в ней душа и тело обрели единство: красота ее тела была сущностью ее души. Она являла собой гармонию, искомую философами в течение многих столетий. В этой открытой приемной с ветрами и звездами она сидела уже сто лет, погруженная в мирное самосозерцание.*

*Наконец ей стало известно, что она должна возродиться. Вздыхая, она начала долгую беседу с Голосом, доносившимся из серебристого ветра. Эта беседа продолжалась много часов, и здесь я приведу только ее фрагмент.*

КРАСОТА (*ее губы почти не шевелятся, а взгляд, как всегда, обращен внутрь себя*): Куда я отправлюсь теперь?

ГОЛОС: В новую страну, где ты раньше не бывала.

КРАСОТА (*капризно*): Ненавижу попадать в новые цивилизации. Какой срок на этот раз?

ГОЛОС: Пятнадцать лет.

КРАСОТА: А что за место?

ГОЛОС: Это самая изобильная, самая превосходная страна на свете. Страна, где мудрейшие жители лишь немного умнее самых глупых; страна, где правители мыслят, как малые дети, а законодатели верят в Санта-Клауса; страна, где уродливые женщины управляют сильными мужчинами...

КРАСОТА (*изумленно*): Что?

ГОЛОС (*в сильном унынии*): Да, это поистине грустное зрелище. Женщины со скошенными подбородками и бесформенными носами расхаживают при свете дня. Они говорят «Сделай то!» или «Сделай это!», и все мужчины, даже самые богатые, безоговорочно слушаются их и напыщенно называют их «миссис такая-то» или «моя жена».

КРАСОТА: Но так не бывает! Конечно, я могу понять их покорность красавицам... но толстухи? Костлявые уродины со впалыми щеками?

ГОЛОС: И тем не менее.

КРАСОТА: Что же будет со мной? Какие шансы я буду иметь?

ГОЛОС: Это будет «чутьочку труднее», если можно так выразиться.

КРАСОТА (*после недовольной паузы*): Почему не старые страны, земли виноградников и сладкоречивых мужчин, или страны морей и кораблей?

ГОЛОС: Ожидается, что вскоре они будут очень заняты.

КРАСОТА: Ох!

ГОЛОС: Как всегда, твоя земная жизнь будет заключена в интервале между двумя многозначительными взглядами в обычное зеркало.

КРАСОТА: Скажи, кем я стану?

ГОЛОС: Сначала было задумано, что ты попадешь в то время как киноактриса, но в итоге это сочли нежелательным. В течение этих пятнадцати лет ты примешь облик так называемой «девушки из светского общества».

КРАСОТА: Что это такое?

*(В шуме ветра появляется новый звук, который для нашего удобства можно истолковать как ГОЛОС, почесавший в затылке.)*

ГОЛОС *(спустя некоторое время)*: Что-то вроде фиктивной аристократки.

КРАСОТА: Фиктивной? Что такое «фиктивный»?

ГОЛОС: Это тебе тоже предстоит узнать там. Ты обнаружишь, что многое является фикцией. И ты будешь делать много фиктивных вещей.

КРАСОТА *(безмятежно)*: Все это выплывает так вульгарно.

ГОЛОС: Даже и наполовину не так вульгарно, как на самом деле. За эти пятнадцать лет тебя будут называть «ребенком рэгтайма», «девушкой свободных нравов», «джазовой крошкой» и «маленькой сиреной». Ты будешь исполнять новые танцы не более и не менее грациозно, чем старые.

КРАСОТА *(шепотом)*: А мне будут платить?

ГОЛОС: Да, как обычно, – любовью.

КРАСОТА *(с легчайшим смехом, который лишь на мгновение нарушает неподвижность ее губ)*: И мне понравится, что меня будут называть «джазовой крошкой»?

ГОЛОС *(рассудительно)*: Тебе это понравится...

*Здесь диалог заканчивается; Красота продолжает тихо сидеть на месте, звезды замедляют свой ход в радостном предвкушении, а порывы серебристого ветра развевают ее волосы.*

*Это произошло за семь лет до того, как ЭНТОНИ сидел у окна своей гостиной и слушал бой башенных часов церкви Св. Анны.*

## Глава 2

### Портрет сирены

Месяц спустя на Нью-Йорк снизошла хрустящая свежесть, которая принесла с собой ноябрь, три громких футбольных матча и великое колыхание мехов на Пятой авеню. Она также создала в городе ощущение напряженности и сдержанного волнения. Теперь с каждой утренней почтой Энтони приходило по три приглашения. Три дюжины добродетельных девиц из высшего света провозглашали свою способность, если не конкретную готовность, родить детей для трех дюжин миллионеров. Еще пятьдесят девиц рангом пониже провозглашали не только свою готовность, но вдобавок и огромное бестрепетное стремление к близкому знакомству с упомянутой группой молодых людей, которые, разумеется, были приглашены на каждую из девяноста шести вечеринок наряду с близкими друзьями и знакомыми юной дамы, студентами колледжей и энергичными молодыми чужаками. Далее, существовал третий слой с городских окраин, из пригородов Ньюарка и Джерси, вплоть до сурового Коннектикута и неприглядных районов Лонг-Айленда, – и, несомненно, бесчисленные сопредельные слои, доходящие до самых низов. Еврейки выходили в свет среди членов своей общины и подыскивали себе шагающего в гору молодого брокера или ювелира для кошерной свадьбы; ирландские девушки, наконец получившие разрешение, бросали взоры на молодых политиков из Таммани-Холла<sup>15</sup>, благочестивых предпринимателей и повзрослевших мальчиков-хористов.

Естественным образом заразный дух ожидания новизны распространился на весь город. Даже рабочие девушки, бедные забитые души, пакующие мыло на фабриках и показывавшие роскошные наряды в больших магазинах, мечтали о том, что посреди захватывающего ажиотажа этой зимы им удастся привлечь внимание какого-нибудь мужчины; так неумелый карманник посреди шумной карнавальная толпы может рассчитывать, что его шансы на удачу возрастают. Каминные продолжали дымить, но спертый воздух в подземке стал более свежим. Актрисы выступали в новых постановках, издатели выпускали новые книги, а городские дворцы предлагали новые танцы. Железные дороги выпустили обновленные расписания с новыми ошибками вместо старых, к которым уже привыкли пассажиры...

Город являл себя во всей красе!

Энтони, прогуливавшийся под серо-стальным небом во второй половине дня по Сорок Второй улице, неожиданно встретился с Ричардом Кэрэмелом, выходящим из парикмахерской в отеле «Манхэттен». Стоял один из первых по-настоящему холодных дней, и Кэрэмел носил пальто с подкладкой из овчины, наподобие тех, какие уже давно носили рабочие на Среднем Западе; здесь они лишь недавно получили одобрение в модном обществе. На нем была мягкая шляпа неброского темно-коричневого цвета, и его яркий глаз сверкал из-под полей, как топаз. Он энергично остановил Энтони и похлопал его по плечам, больше от желания согреться, чем из игривых побуждений, и после неизбежного рукопожатия разразился речью.

– Дьявольски холодно... Бог ты мой, я весь день работал как проклятый, пока в комнате не стало так холодно, что мне показалось, будто у меня воспаление легких. Чертова домохозяйка, которая экономит на угле, поднялась лишь после того, как я полчаса стоял на лестнице и звал ее. Начала объяснять, что да почему. Боже! Сперва она едва не довела меня до безумия, потом я подумал, что из нее может получиться неплохой персонаж, и начал записывать, пока она говорила, – знаешь, незаметно, как будто я писал без всякого умысла...

---

<sup>15</sup> Таммани-Холл – политическое общество Демократической партии США в Нью-Йорке, контролировавшее выдвижение кандидатов в Манхэттене с 1854 по 1934 год. Названо в честь индейского вождя Таманенда.

Он подхватил Энтони под руку и потащил его за собой по направлению к Мэдисон-авеню.

– Куда мы идем?

– Никуда в особенности.

– Тогда какой смысл? – осведомился Энтони.

Они остановились и уставились друг на друга. Энтони думал о том, сделал ли холод его лицо таким же отталкивающим, как у Дика Кэрэмела, чей нос был алым, выпуклый лоб посинел от мороза, а желтые непарные глаза покраснели и слезились. Мгновение спустя они снова зашагали рядом.

– Я хорошо продвинулся с романом, – Дик глядел на тротуар и выразительно обращался в ту же сторону, – но время от времени я должен выходить на улицу. – Он примирительно взглянул на Энтони, словно жаждал поощрения. – Мне нужно поговорить. Полагаю, лишь очень немногие люди на самом деле *думают*, то есть сидят, размышляют и последовательно располагают свои идеи. Я думаю, когда пишу или разговариваю. Нужно иметь что-то вроде исходной позиции, – нечто такое, что можно защищать или опровергать. А ты как думаешь?

Энтони хмыкнул и аккуратно высвободил руку.

– Я не прочь побеседовать с тобой, Дик, но это пальто...

– Я имею в виду, что на бумаге твой первый абзац содержит идею, которую ты должен отвергнуть или расширить, – серьезно продолжал Дик. – В разговоре у тебя есть последняя фраза твоего визави, но когда ты просто *размышляешь*, твои идеи следуют друг за другом, как картинки в волшебном фонаре, и каждая из них вытесняет предыдущую.

Они миновали Сорок Пятую улицу и немного замедлили ход. Оба закурили сигареты и теперь выпускали громадные клубы дыма и морозного пара.

– Давай дойдем до «Плазы» и возьмем себе по эггногу<sup>16</sup>, – предложил Энтони. – Это тебя взбодрит и выгонит чертов никотин из твоих легких. Давай, я позволю тебе всю дорогу говорить о твоей книге.

– Не хочу, если это скучно для тебя. Я хочу сказать, не надо оказывать мне услугу, – он поспешно сыпал словами, и, хотя старался говорить небрежным тоном, его лицо сморщилось от неуверенности. Энтони был вынужден запротестовать:

– Скучно? Ни в коем случае!

– У меня есть кузина... – начал Дик, но Энтони перебил его, раскинув руки и издав приглушенный крик восторга.

– Хорошая погода, не так ли? – воскликнул он. – Как будто мне снова десять лет. То есть она заставляет меня чувствовать себя так, словно мне десять лет. Убийственно! О господи! В одну минуту мир принадлежит мне, а в следующую минуту я величайший глупец на свете! Сегодня это мой мир, и все просто, очень просто. Даже небытие – тоже просто!

– У меня есть кузина в «Плазе». Знаменитая особа. Мы можем подняться и познакомиться с ней. Она живет там зимой вместе с отцом и матерью, – по крайней мере, с недавних пор.

– Не знал, что у тебя есть кузины в Нью-Йорке.

– Ее зовут Глория. Она из дома... из Канзас-Сити. Ее мать – практикующая билфистка<sup>17</sup>, а отец довольно скучный, но безупречный джентльмен.

– Кто они для тебя? Литературный материал?

– Они пытаются соответствовать. Пожилой джентльмен то и дело рассказывает мне, что недавно познакомился с замечательным персонажем для романа. Рассказывает о своем

---

<sup>16</sup> Эггног – коктейль из взбитых яиц с сахаром и ромом (*прим. перев.*).

<sup>17</sup> Билфизм – термин, выдуманный Ф. С. Фицджеральдом и введенный в оборот в этом романе; обозначает людей, которые верят в реинкарнацию души (*прим. перев.*).

дурачком друге, а потом говорит: «Вот подходящий персонаж для тебя! Почему бы тебе не написать о нем? Он должен заинтересовать всех». Или же он рассказывает мне о Японии, Париже либо другом известном месте и говорит: «Почему бы тебе не сочинить историю об этом месте? Это прекрасный антураж для романа!»

– Как насчет девушки? – небрежно поинтересовался Энтони. – Глория... Глория, а дальше?

– Гилберт. О, ты должен бы слышать о ней: Глория Гилберт. Ходит на танцы в колледжах и все такое.

– Я слышал это имя.

– Она хорошенькая... на самом деле, чертовски привлекательная.

Они достигли Пятидесятой улицы и свернули к Пятой авеню.

– Как правило, мне нет дела до молодых девушек, – нахмурившись, произнес Энтони.

Строго говоря, это было неправдой. Хотя ему казалось, что средняя дебютантка целыми днями думает и говорит о том, какие открытия уготовил ей большой мир в течение ближайшего часа, любая девушка, зарабатывающая на жизнь только своей красотой, безмерно интересовала его.

– Да, Глория дьявольски хороша... в отличие от ее мозгов.

Энтони издал короткий смешок.

– Ты имеешь в виду, что с ней нельзя поболтать о литературе.

– Нет, это не так.

– Дик, тебе известно, каких девушек ты считаешь умными. Серьезных молодых женщин, которые сидят с тобой в уголке и серьезно говорят о жизни. Таких, кто в шестнадцать лет с авторитетным видом рассуждали, правильно или неправильно целоваться и безнравственно ли для первокурсников пить пиво.

Ричард Кэрэмел обиделся. Его ухмылка смялась, как бумага.

– Нет... – начал он, но Энтони безжалостно перебил его.

– Да, друг мой: тебе нравятся девушки, которые сидят в уголках и обсуждают стихи новейшего скандинавского Данте, вышедшие в английском переводе.

Дик повернулся к нему со странно упавшим лицом. Его вопрос прозвучал почти как мольба.

– Что такое с тобой и Мори? Иногда вы говорите так, будто считаете меня неполноценным.

Энтони смутился, но вместе с тем он чувствовал себя отчужденно и немного неуютно, поэтому решил перейти в наступление.

– Твои мозги тут ни при чем, Дик.

– Как это ни при чем? – сердито воскликнул Дик. – Что ты имеешь в виду?

– Возможно, ты слишком много знаешь для своей работы.

– Такого не может быть.

– А я могу представить человека, который знает гораздо больше, чем может выразить его талант, – настаивал Энтони. – Человека вроде меня. Допустим, к примеру, что у меня больше знаний, чем у тебя, но меньше таланта. Это делает меня бессловесным. С другой стороны, у тебя хватает воды, чтобы наполнить большое ведро и удержать ее там.

– Я тебя совсем не понимаю, – удрученно пожаловался Дик. Безмерно обескураженный, он протестующе набычился и напряженно смотрел на Энтони, преграждая дорогу прохожим, которые бросали на него злые и возмущенные взгляды.

– Я всего лишь хочу сказать, что такой талант, как у Уэллса, должен обладать интеллектом Спенсера. Но незначительный талант должен быть благодарен за то, что может рождать лишь незначительные идеи. И чем более узок твой взгляд на тот или иной предмет, тем увлекательнее ты можешь описать его.

Дик задумался, не в силах точно определить степень критики, заключенной в замечаниях Энтони. Но Энтони, с той легкостью, которая часто давалась ему, продолжил свою речь. Его темные глаза сияли на узком лице; он вздернул подбородок, повысил голос и приосанился.

– Допустим, я горд, умен и рассудителен, как афинянин среди греков. Что ж, я могу потерпеть неудачу там, где преуспеет человек меньшего пошиба. Он может подражать, он может приукрашивать, может быть воодушевленным и оптимистично конструктивным. Но этот гипотетический «я» будет слишком гордым для подражания, слишком рассудительным для энтузиазма, слишком искушенным, чтобы стать утопистом, слишком настоящим греком для приукрашивания действительности.

– Значит, ты не думаешь, что творец опирается на свой разум?

– Нет. Он по возможности улучшает то, что имитирует, с помощью своего стиля, и выбирает из своей интерпретации окружающего мира наиболее подходящий материал. Но в конце концов, каждый писатель пишет потому, что это его образ жизни. Только не рассказывай, что тебе нравятся рассуждения о «божественной функции творца».

– Я вообще не привык называть себя творцом.

– Дик, – Энтони изменил тон. – Я хочу попросить прощения.

– За что?

– За эту вспышку. Мне правда жаль. Я говорил ради эффекта.

– Я всегда считал, что ты филистер в душе, – немного смягчившись, ответил Дик.

Уже зашло солнце, когда они укрылись за белым фасадом отеля «Плаза» и не спеша смаковали пену и желтый густой эггног. Энтони смотрел на своего спутника. Нос и лоб Ричарда Кэрэмела постепенно приобретали сходную окраску; один утратил красноту, другой нездоровую голубизну. Заглянув в зеркало, Энтони с радостью обнаружил, что его кожа не утратила естественный цвет. Напротив, на его щеках играл легкий румянец, и он полагал, что еще никогда не выглядел так хорошо.

– С меня достаточно, – произнес Дик тоном спортсмена на тренировке. Хочу подняться наверх и повидать Гилбертов. Ты пойдешь?

– Почему бы и нет? Если ты не отдашь меня родителям и не удерешь за угол с Дорой.

– Не с Дорой, а с Глорией.

Секретарь известил об их прибытии по телефону. Поднявшись на десятый этаж, они прошли по длинному извилистому коридору и постучали в дверь номера 1088. Дверь открыла женщина средних лет, миссис Гилберт собственной персоной.

– Как поживаете? – она говорила светским тоном, принятом в дамском обществе. – Я ужасно рада вас видеть...

Последовали сбивчивые объяснения от Дика, а потом:

– Мистер Пэтс? Заходите, пожалуйста, и оставьте пальто вон там, – она указала на стул и сменила интонацию на заискивающий смех с частыми придыханиями. – Это чудесно, просто чудесно! Но, Ричард, ты *так* долго не был у нас... Нет!.. Нет! – Последние односложные восклицания отчасти служили реакцией, отчасти риторическими паузами в ответ на неопределенные движения Дика. – Прошу вас, садитесь и расскажите, чем вы занимаетесь.

Один расхаживал взад-вперед; другой стоял и отвешивал легкие поклоны; один расточал глуповатые беспомощные улыбки; другой гадал, когда же она сядет... наконец, все благодарно расселись и приготовились к приятной беседе.

– Полагаю, это потому, что ты был занят... и кое-что еще, – улыбка миссис Гилберт была почти двусмысленной. Этим «кое-что еще» она пользовалась, чтобы уравновешивать свои наиболее шаткие высказывания. У нее имелось два других приема: «по крайней мере, так я это вижу» и «просто и ясно». Чередование этих трех сентенций придавало ее замеча-

ниям дух общих размышлений о жизни, как будто она вычисляла все возможные причины и наконец указывала на основную.

Насколько мог видеть Энтони, лицо Ричарда Кэрэмела вернулось к нормальному состоянию. Лоб и щеки приобрели телесный оттенок, нос вежливо не привлекал к себе внимания. Он вперился в свою тетю взгляд ярко-желтого глаза, одаряя ее тем нераздельным и преувеличенным вниманием, которое молодые мужчины привыкли уделять всем женщинам, не имеющим в дальнейшем никакой ценности.

– Вы тоже писатель, мистер Пэтс?.. Что же, может быть, мы все будем купаться в лучах славы Ричарда.

Миссис Гилберт издала негромкий смешок, приглашая остальных присоединиться к ней.

– Глории нет дома, – сказала она тоном человека, излагающего аксиому, на основании которой можно было получать результаты. – Она где-то танцует. Глория уходит, приходит и снова уходит. Не понимаю, как она может это вынести. Она танцует весь день и всю ночь; думаю, она дотанцуется до того, что превратится в тень. Отец очень беспокоится за нее.

Она с улыбкой посмотрела на одного, потом на другого. Оба улыбнулись в ответ.

По представлению Энтони, она состояла из ряда полукружий и парабол, наподобие тех фигур, которые одаренные шутники создают на пишущей машинке: голова, руки, бюст, бедра, икры и лодыжки представляли собой поразительный набор округлых ярусов. Она была чистой и ухоженной, с волосами рукотворно-глубокого серого оттенка; ее крупное лицо укрывало выдавшие виды голубые глаза и было украшено едва заметными седыми усиками.

– Я всегда говорю, что у Ричарда древняя душа, – обратилась она к Энтони.

В последовавшей за этим неловкой паузе Энтони заподозрил каламбур – нечто такое, для чего Дик часто становился мишенью.

– Мы все обладаем душами из разных эпох, – лучезарно продолжала миссис Гилберт. – По крайней мере, так я это вижу.

– Вполне возможно, – согласился Энтони, готовый ухватиться за многообещающую идею. Но ручеек ее голоса лился дальше:

– У Глории очень молодая душа, безответственная... и кое-что еще. У нее нет чувства ответственности.

– Она искрится и сверкает, тетя Кэтрин, – примирительным тоном произнес Ричард. – Чувство ответственности только испортит ее. Она слишком хорошенькая.

– Хорошо, – признала миссис Гилберт. – Но я знаю только, что она уходит, приходит и уходит...

Количество обстоятельств, дискредитирующих Глорию, потонуло в скрипе дверной ручки, повернувшейся для того, чтобы впустить мистера Гилберта.

Мистер Гилберт был невысоким мужчиной с облачком седых усов, впушенных под непримечательным носом. Он достиг того этапа, когда его значимость как социального существа превратилась в черный и почти непроницаемый негатив. Его идеи представляли собой популярные заблуждения двадцатилетней давности; его разум следовал вихляющим и анемичным курсом передовиц ежедневных газет. После окончания небольшого, но вселяющего ужас старого университета на Западном побережье он приобщился к целлулоидному бизнесу, а поскольку это требовало лишь крошечной доли привнесенного интеллекта, то он преуспевал в течение нескольких лет, – фактически, до 1911 года, когда он стал обменивать свои контракты на неопределенные соглашения с деятелями киноиндустрии. Воротилы этой индустрии в 1912 году решили поглотить его предприятие, и в настоящее время, он, так сказать, тонко балансировал на краешке высунутого языка. Между тем он был управляющим распорядителем Объединенной компании киноматериалов Среднего Запада, проводившим каждые шесть месяцев года в Нью-Йорке, а в остальное время – в Канзас-Сити и Сент-

Луисе. Он доверчиво полагал, что ему предстоит нечто хорошее и светлое, а его жена и дочь придерживались того же мнения.

Он не одобрял поведение Глории: она задерживалась допоздна, никогда не ела вовремя и постоянно находилась в сомнительном обществе. Однажды она разозлилась на него и произнесла слова, которые, по его мнению, не могли принадлежать к ее словарю. С женой было проще. После пятнадцати лет неустанной партизанской войны он наконец завоевал ее: это была война невразумительного оптимизма с организованной серостью, и что-то неопределенное в количестве междометий «да-да», которыми он мог отравить любой разговор, принесло ему победу.

– Да-да-да-да, – говорил он. – Да-да-да-да, давайте посмотрим. Это было летом... давайте посмотрим... девяносто первого или девяносто второго года... Да-да-да-да...

Пятнадцать лет «да-да-да-да» разгромили оборону миссис Гилберт. Еще пятнадцать лет этих неустанных и неутвердительных утверждений, сопровождаемых регулярным стряхиванием пепла с кончиков тридцати двух тысяч сигар, полностью сломали ее. Этому своему мужу она сделала последнюю уступку в виде супружеской жизни, более полную и бесповоротную, чем предыдущему: она стала слушать его. Она внушила себе, что прожитые годы приучили ее к терпимости, хотя на самом деле они уничтожили те крохи нравственного мужества, которыми она еще обладала.

Она представила Энтони мистера Гилберта.

– Это мистер Пэтс, – сказала она.

Молодой и пожилой человек соприкоснулись ладонями; рука мистера Гилберта была мягкой, изношенной до состояния выжатого грейпфрута. Потом муж и жена обменялись приветствиями: он сказал ей, что на улице похолодало и что он дошел до газетного ларька на Сорок Второй улице, чтобы купить газету «Канзас-Сити». Он намеревался доехать обратно на автобусе, но обнаружил, что там слишком холодно, да-да-да-да, слишком холодно.

Миссис Гилберт добавила пикантности его приключению, находясь под глубоким впечатлением от его мужества в борьбе с суровой погодой.

– Какой ты смелый! – восхищенно воскликнула она. – Ты действительно смелый. Я бы ни за что не вышла на улицу.

Мистер Гилберт с подлинно мужской бесстрастностью пренебрег благоговением, которое он пробудил в своей жене. Он повернулся к двум молодым людям и победоносно выдвинул на обсуждение тему погоды. Ричарду Кэрэмелу было предложено вспомнить ноябрь в Канзасе. Однако эта наживка вернулась к нему не раньше чем ее выудили обратно, повертели и ощупали со всех сторон, растянули, попробовали на зуб и в целом окончательно умертвили.

Был успешно представлен древний тезис о том, что в былые времена дни были теплыми, а ночи очень приятными, и они установили точное расстояние по никому не известной железной дороге между двумя пунктами, о которых нечаянно упомянул Дик. Энтони устремил неподвижный взгляд на мистера Гилберта и вошел в состояние транса, который вскоре был нарушен ласковым голосом миссис Гилберт:

– Такое впечатление, что здесь холод отличается большей сыростью: он прямо-таки вгрызается в кости.

Поскольку ответ, хорошо оснащенный «да-да-да-да», уже вертелся на языке у мистера Гилберта, Энтони нельзя было винить за то, что он предпочел резко сменить тему.

– А где Глория?

– Она может прийти в любую минуту.

– Вы знакомы с моей дочерью, мистер...

– Не имел удовольствия, но Дик часто говорил о ней.

– Они с Ричардом кузены.

– Правда? – Энтони улыбнулся с некоторым усилием. Он не привык к обществу старших, и у него одеревенели губы от этой поверхностной жизнерадостности. Так приятно думать о том, что Глория и Дик – двоюродные родственники! В следующую минуту ему удалось послать отчаянный взгляд своему другу.

Ричард Кэрэмел боялся, что им пора уходить.

Миссис Гилберт было невероятно жаль.

Мистер Гилберт полагал, что это очень досадно.

У миссис Гилберт имелась другая идея: она в любом случае была рада их визиту, даже если они видели всего лишь пожилую даму, пожалуй, слишком пожилую, чтобы флиртовать с ней. Энтони и Дик, очевидно, сочли это остроумным замечанием, так как они посмеялись в течение одного трехчетвертного такта.

Они придут снова?

– О да.

Глория *ужасно* расстроится!

– До свидания...

– До свидания...

Улыбки!

Улыбки!

Банг!

Два безутешных молодых человека побрели по коридору десятого этажа отеля «Плаза» в направлении лифта.

## Дамские ножи

За благообразной расслабленностью, отстраненностью и непринужденной насмешливостью Мори Нобла скрывалась удивительная, непреклонная и зрелая целеустремленность. Его намерение, изложенное в колледже, состояло в том, чтобы провести три года в странствиях и три года в абсолютной праздности, а потом как можно быстрее стать чрезвычайно богатым.

Три года его странствий подошли к концу. Он исследовал земной шар с интенсивностью и любознательностью, которая в любом другом человеке показалась бы педантизмом, – без подкупающей спонтанности, почти как путеводитель Бедекера в человеческом облике. Но в данном случае его путешествия обрели дух некой мистической цели и важного замысла, как будто Мори Нобл был предсказанным Антихристом, движимым предопределением посетить все края света и увидеть миллиарды людей, размножавшихся, скорбевших и убивавших друг друга<sup>18</sup>.

Вернувшись в Америку, он с такой же систематической сосредоточенностью занялся поиском увеселений. Никогда не выпивавший более пинты вина или нескольких коктейлей за один вечер, он приучил себя к выпивке точно так же, как научился древнегреческому языку, словно это, как и древнегреческий, открывало путь к богатству новых ощущений и душевных состояний, к новым реакциям в горе или в радости.

Его привычки были предметом эзотерических догадок. Он имел три комнаты в холостяцкой квартире на Сорок Четвертой улице, но его редко можно было застать там. Телефонистка получила строгую инструкцию, что никто не должен иметь доступ к его слуху, сначала не представившись ей. У нее имелся список из полудюжины людей, для которых

---

<sup>18</sup> Видоизмененная цитата из Тобиаса Джорджа Смоллетта (1721–1771), шотландского писателя и поэта, повлиявшего на творчество Диккенса и Теккерея (*прим. перев.*).

его никогда не было дома, и примерно такой же список избранных, для которых он всегда находился дома. Во главе второго списка стояли имена Энтони Пэтча и Ричарда Кэрэмела.

Мать Мори жила вместе с женатым сыном в Филадельфии, и Мори обычно отправлялся туда на выходные, поэтому однажды в субботу, когда Энтони, бродивший по стильным улицам в приступе невыносимой скуки, заглянул в «Молтон-Армс», он был чрезвычайно рад обнаружить, что мистер Нобл находится у себя дома.

Его дух воспарил быстрее поднимавшегося лифта. Так хорошо, так замечательно, что скоро он побеседует с Мори, который тоже будет рад видеть его. Они посмотрят друг на друга с глубокой приязнью, которую оба прячут за добродушным подшучиванием. Если бы на дворе было лето, они бы вышли на улицу и неспешно выпили две больших порции коктейля «Том Коллинз», расстегнув воротнички и лениво наблюдая за танцевальным номером в каком-нибудь августовском кабаре. Но на улице было холодно, порывы ветра налетали из-за углов высоких зданий, и со дня на день наступал декабрь. Гораздо лучше провести вечер в неярком свете ламп, выпить одну-две порции виски «Бушмиллс» или рюмочку коньячного ликера «Гран Марнье», с книгами, поблескивающими вдоль стен как изысканные украшения, и с Мори, излучающим божественную лень, большим и похожим на кота, когда он отдыхает в своем любимом кресле.

Наконец-то! Комната сомкнулась вокруг Энтони, согревая его. Сияние мощного, вкрадчиво-убедительного разума и темперамент, почти восточный в своей внешней бесстрастности, успокоили мятущуюся душу Энтони и даровали ему умиротворение, которое можно было сравнить лишь с умиротворением, какое испытываешь в обществе недалекой женщины. Человек должен понимать все, иначе он будет принимать все за чистую монету.

Величественный, словно тигр, Мори заполнял собой всю комнату. Внешние ветры стихли; бронзовые подсвечники на каминной полке мерцали, как церковные свечи перед алтарем.

– Что задержало тебя сегодня? – Энтони растянулся на мягком диване и соорудил себе подставку для локтя из подушек.

– Вернулся только час назад. Скромная встреча с чаем и танцами; остался так надолго, что пропустил поезд до Филадельфии.

– Странно, что ты оставался так долго, – с любопытством заметил Энтони.

– Да, довольно странно. А ты что поделываешь?

– Джеральдина, маленькая билетерша в театре «Китс». Я тебе о ней рассказывал.

– О!

– Навестила меня около трех часов и пробыла до пяти. Своеобразная душечка – она меня забавляет своей абсолютной глупостью.

Мори промолчал.

– Это может показаться странным, – продолжал Энтони, – но что касается меня, и даже насколько мне известно, Джеральдина – настоящий образец добродетели.

Он был знаком с этой девушкой неопределенных и переменчивых привычек где-то около месяца. Кто-то мимоходом передал ее с рук на руки Энтони, который посчитал ее забавной. Ему понравились целомудренные и невесомые поцелуи, которыми она одарила его на третий вечер их знакомства, когда они проезжали на такси по Центральному парку. Ее семья оставалась неуловимой: призрачная тетя и дядя, которые делили с ней квартиру в лабиринте Сотых улиц. Она была общительной и привычно-знакомой, с намеком на задушевность и покой. Он не предпринимал попыток глубже проникнуть в ее жизнь, – не из моральных соображений, но от страха, что любая излишняя близость может нарушить до сих пор безмятежное течение его жизни.

– У нее есть два трюка, – сообщил он Мори. – Один из них – опустить челку на глаза и потом сдуть ее в сторону, а другой – протянуть «Ты ненорма-а-льный!», когда кто-то делает

замечание, которое она не в силах понять. Это завораживает меня. Я могу сидеть целыми часами, заинтригованный маниакальными симптомами, которые она находит в моем воображении.

Мори шевельнулся в кресле и заговорил.

– Примечательно, что человек может знать так мало и тем не менее жить в такой сложной цивилизации, как наша. Подобная женщина воспринимает вселенную самым прозаичным способом. Начиная от влияния Руссо до влияния тарифных ставок на стоимость ее обеда, – все эти феномены остаются совершенно непонятными для нее. Она оказалась перенесенной из эпохи копий и луков прямо в наше время, со снаряжением лучника для дуэли на пистолетах. Ты можешь снять перед ней целый пласт истории, и она не заметит разницу.

– Мне хотелось бы, чтобы наш Ричард написал о ней.

– Энтони, ты не можешь всерьез думать, что она достойна описания.

– Достойна не меньше любого другого, – зевая, ответил он. – Знаешь, сегодня я подумал, что испытываю огромную уверенность в Дике. Пока он цепляется за людей, а не за идеи, и пока его вдохновение исходит от жизни, а не от искусства, думаю, ему предстоит большое будущее.

– Полагаю, появление черного блокнота доказывает, что он обращается к жизни.

– Он пытается идти в жизнь, – с энтузиазмом ответил Энтони, приподнявшись на локте. – Так поступает любой автор, кроме самых худших, но в конце концов все они довольствуются полуфабрикатами. Случай или персонаж может быть взят из жизни, но писатель обычно интерпретирует их в контексте последней книги, которую он прочитал. Допустим, он знакомится с морским волком и считает, что это оригинальный персонаж. На самом деле он видит сходство между своим морским волком и тем образом, который создал капитан Дэйна<sup>19</sup> или любой другой автор, поэтому он знает, как представить свой персонаж на бумаге. Разумеется, Дик может создать любого живописного и правдоподобного героя, но вот может ли он точно описать собственную сестру?

Следующие полчаса были посвящены литературной дискуссии.

– Классика – это успешная книга, которая пережила следующий исторический период или поколение, – рассуждал Энтони. – Тогда она становится незыблемой, как архитектурный или мебельный стиль. Она приобретает образное достоинство, приходящее на смену модной тенденции...

Спустя некоторое время тема постепенно утратила остроту. Оба молодых человека не особенно интересовались подробностями. Они любили общие вещи. Энтони недавно открыл для себя Сэмюэля Батлера, и пронизательные афоризмы, которые он заносил в свою записную книжку, казались ему квинтэссенцией критического разума. Мори, чей интеллект существенно смягчал жесткость его жизненной схемы, неизменно казался более умудренным, но по общему складу ума их различия фактически сводились к минимуму.

Они перешли от словесности к обсуждению примечательных особенностей сегодняшнего дня.

– Кто приглашал на чай?

– Семья Аберкромби.

– Почему ты задержался? Познакомился с соблазнительной дебютанткой?

– Да.

– В самом деле? – Энтони удивленно повысил голос.

– Вообще-то, не совсем дебютанткой. По ее словам, она вышла в свет два года назад в Канзас-Сити.

---

<sup>19</sup> Уильям Гудвин Дэйна (1797–1858) – бостонский капитан, который в 1825 году прибыл в Санта-Барбару, где женился и стал алькальдом (мэром) этого города. Со временем он стал фольклорным персонажем (*прим. перев.*).

– И застряла на месте?

– Нет, – с некоторым самодовольством ответил Мори. – Думаю, это последнее, что можно про нее сказать. Она как будто... в общем, как будто была самой молодой из присутствующих.

– Но не слишком юной, чтобы заставить тебя опоздать на поезд.

– Достаточно юной. Прелестное дитя.

Энтони коротко хохотнул.

– Полно, Мори, ты словно впадаешь в детство. Что ты имеешь в виду под «прелестью»?

Мори беспомощно глядел в пустоту.

– Не могу точно описать ее, разве что сказать, что она чрезвычайно красива. Она... невероятно живая. И она ела мармеладные шарики.

– Что?!

– Это что-то вроде невинного пристрастия. У нее нервический темперамент: она говорит, что всегда ест мармеладки во время чаепития, потому что приходится долго оставаться на одном месте.

– О чем вы говорили – о Бергсоне? О билфизме? Является ли уанстеп безнравственным танцем?

Мори остался невозмутимым, и его шерсть ничуть не встопорщилась.

– В сущности, мы действительно говорили о билфизме. Как выяснилось, ее мать билфистка. Но в основном мы говорили о ногах.

Энтони покотился со смеху.

– Боже мой! О чьих ногах?

– О ее ногах. Она много говорила о них, как будто это настоящая редкость. У меня появилось сильное желание увидеть их.

– Кто она, танцовщица?

– Нет, я обнаружил, что она двоюродная сестра Дика.

Энтони так резко выпрямился, что подушка, на которую он опирался, подпрыгнула, как живое существо, и упала на пол.

– Ее зовут Глория Гилберт?

– Да. Не правда ли, замечательная девушка?

– Я с ней не знаком, но ее отец настолько тупой...

– Что ж, – с неумолимой убежденностью перебил Мори. – Ее родители могут быть безутешны, как профессиональные плакальщики, но я склонен полагать, что у нее оригинальный и незаурядный характер. По внешним признакам – стандартная выпускница Йеля и все такое, но на самом деле другая, совершенно другая.

– Продолжай, продолжай! – допытывался Энтони. – Когда Дик сказал, что у нее в голове ничего нет, я сразу понял, что она должна быть очень хороша собой.

– Он так сказал?

– Готов поклясться, – отозвался Энтони и фыркнул от смеха.

– Ну, то, что он понимает как женский ум, это...

– Знаю, – с жаром перебил Энтони. – Он подразумевает кучку литературной дезинформации.

– То-то и оно. Ему нужны те, кто считает ежегодный нравственный упадок страны либо очень хорошей новостью, либо очень угрожающей новостью. Либо пенсне, либо поза. Так вот, эта девушка говорила о ногах. Еще она говорила о коже, – о собственной коже. Всегда о чем-то своем. Она рассказывала мне, какой загар ей хотелось бы получить летом и с какой точностью она обычно рассчитывает это.

– Ты сидел, зачарованный ее низким контральто?

– Ее низким контральто! Нет, ее загаром! Я начал размышлять о загаре. Я стал вспоминать, какой оттенок был у меня, когда я последний раз загорал два года назад. У меня действительно был очень неплохой загар бронзового оттенка, если я правильно помню.

Энтони снова прилег на диван, сотрясаясь от смеха.

– Она заставила тебя... ох, Мори! Спасатель Мори из Коннектикута. Мускатный орех в человеческом облике. Экстренный выпуск! Богатая наследница тайно сбежала со спасателем береговой охраны из-за его роскошного загара! Как выяснилось впоследствии, в его семье были предки из Тасмании!

Мори со вздохом подошел к окну и приподнял штору.

– На улице снегопад.

Энтони, все еще тихо посмеивавшийся, не ответил ему.

– Еще одна зима, – голос Мори, доносившийся от окна, был тихим как шепот. – Мы стареем, Энтони. Господи, мне уже двадцать семь лет! Осталось три года до тридцати, и я стану тем, кого студенты старших курсов называют «мужчиной среднего возраста».

Энтони немного помолчал.

– Ты и впрямь стареешь, Мори, – наконец согласился он. – Это первые признаки распущенной и разболтанной дряхлости: ты весь день говоришь о загаре и дамских ножках.

Мори опустил штору с внезапным резким щелчком.

– Идиот! – крикнул он. – Только подумать, что я слышу это от тебя! Вот я сижу здесь, юный Энтони, и буду сидеть еще двадцать лет или больше, глядя на то, как беспечные души вроде тебя, Дика и Глории Гилберт проходят мимо меня, поют, танцуют, любят и ненавидят друг друга и находятся в вечном движении. А мною движет лишь отсутствие чувств. Я буду сидеть, и снова пойдет снег, – если бы Кэрэмел был здесь, то он бы записывал, – потом придет очередная зима, и мне исполнится тридцать лет, а ты, Дик и Глория будете непрерывно двигаться, танцевать и петь вокруг меня. Но после того, как вас не станет, я буду говорить разные вещи, которые будут записывать новые Кэрэмелы, и выслушивать разочарования, циничные шутки и чувства новых Энтони... да, и разговаривать с новыми Глориями о загаре еще не наступившего лета.

Язычки пламени трепетали в камине. Мори отошел от окна, поворошил угли кочергой и положил дрова на железную подставку над очагом. Потом он опустился в свое кресло, и остатки его голоса выцвели в новом пламени, лизавшем кору красными и желтыми языками.

– В конце концов, Энтони, это ты очень молод и романтичен. Это ты гораздо более впечатлителен и боишься нарушить свой покой. Это я снова и снова пытаюсь привести в движение свои чувства, – тысячи раз пробую дать себе волю, но всегда остаюсь собой. Ничто, практически ничто не трогает меня. Однако... – пробормотал он после очередной долгой паузы, – в этой юной девице с ее нелепым загаром было что-то бесконечно старое, – как и во мне самом.

## Волнение

Энтони сонно повернулся в постели навстречу пятну холодного света на его стеганом одеяле с перекрещивающимися тенями оконного переплета. Комната наполнилась утром. Резной комод в углу и старинный, непроницаемый платяной шкаф стояли, как темные символы равнодушной материи; лишь ковер оставался манящим и живым для его бранных ног, и Баундс, ужасающе неуместный в своем мягком воротничке, казался таким же выцветшим, как и мерзлое облачко его дыхания. Слуга стоял рядом с кроватью, все еще протягивая руку, которой он дергал краешек одеяла, а его темно-карие глаза невозмутимо взирали на хозяина.

– Баус! – пробормотало сонное божество. – Эт-ты, Баус?

– Это я, сэр.

Энтони повернул голову, разлепил глаза и торжествующе заморгал.

– Баундс.

– Да, сэр?

– Ты мог бы ото... уау-оу-ох-ох-ох, господи! – Энтони неудержимо зевнул, и содержимое его мозга как будто сбилось в плотный мякиш. Он попробовал еще раз.

– Ты мог бы прийти около четырех часов дня и приготовить кофе с сэндвичами или что-то в этом роде?

– Да, сэр.

Энтони немного подумал, испытывая пугающую нехватку вдохновения.

– Сэндвичи, – беспомощно повторил он. – Да, сэндвичи с сыром, с конфитюром, с курицей и оливками. Не стоит беспокоиться насчет завтрака.

Последнее напряжение ума оказалось непосильным. Он устало закрыл глаза, откинул голову на подушку и быстро расслабил мышцы, которые еще мог контролировать. Откуда-то из расселины его воспоминаний выплыл смутный, но неотвратимый призрак предыдущего вечера; в данном случае это был лишь нескончаемый разговор с Ричардом Кэрэмелом, который зашел к нему около полуночи. Они выпили четыре бутылки пива и жевали сухие хлебные корки, пока Энтони слушал чтение первой части «Демона-любownika».

...Казалось, прошло много часов, прежде чем голос достиг его слуха. Энтони игнорировал его, пока сон смыкался вокруг него, обволакивал его и проникал в закоулки его разума.

– Что? – спросил он, внезапно проснувшись.

– На сколько персон, сэр? – Это по-прежнему был Баундс, терпеливо и неподвижно стоявший в ногах кровати, – Баундс, деливший свои хорошие манеры между тремя джентльменами.

– Насколько что?

– Полагаю, сэр, мне лучше заранее узнать, сколько будет гостей. Мне понадобится рассчитать количество сэндвичей, сэр.

– На двоих, – хрипло пробормотал Энтони. – Леди и джентльмен.

– Спасибо, сэр, – промолвил Баундс и удалился, унося с собой униженно постыдный мягкий воротничок, в равной степени постыдный для троих джентльменов, каждый из которых требовал лишь одной трети его внимания.

Спустя долгое время Энтони встал и облачился в переливчатый коричнево-голубой халат, приятно смотревшийся на его стройной фигуре. С последним зевком он прошествовал в ванную, где включил свет над туалетным столиком (в ванной не было внешних источников света) и с некоторым интересом изучил свое отражение в зеркале. Жалкое зрелище, подумал он, как обычно бывало поутру, – после сна его лицо казалось неестественно бледным. Он закурил сигарету, просмотрел несколько писем и раскрыл утренний выпуск «Трибьюн».

Час спустя, выбритый и одетый, он сидел за столом и рассматривал листок бумаги, извлеченный из бумажника. Листок был исписан неразборчивыми напоминаниями: «Встретиться с мистером Хоулендом в пять часов. Постричься. Узнать по поводу счета от Риверса. Сходить в книжный магазин». Под заключительной надписью стояла приписка: «Деньги в банке, \$690 (зачеркнуто), \$612 (зачеркнуто), \$607».

И наконец, в самом низу, торопливым почерком: «Пригласить Дика и Глорию Гилберт на чай».

Этот последний пункт доставлял ему заметное удовольствие. Распорядок его дня, обычно напоминавший студенистое существо, бесформенную и бесхребетную тварь, приобрел мезозойскую упорядоченность<sup>20</sup>. День уверенно и даже оживленно продвигался к раз-

---

<sup>20</sup> В 1920-е годы считалось, что позвоночные животные появились в мезозойскую эпоху, хотя на самом деле это произошло раньше (прим. перев.).

вязке, к кульминационному моменту, как полагается в пьесе. Он страшился того момента, когда хребет дня окажется сломанным, когда он наконец познакомится с девушкой, поговорит с ней, а потом с поклоном выпроводит ее смех за дверь, оставшись лишь с меланхолическими опивками в чайных чашках и постепенно появляющейся тухлинкой в так и не съеденных сандвичах.

В равномерном течении его дней наблюдалась растущая нехватка живых красок. Энтони постоянно ощущал ее и иногда объяснял этот феномен беседой с Мори Ноблом месяцем раньше. Было нелепо думать, что нечто столь бесхитрое и педантичное, как ощущение впустую потраченного времени, может угнетать его... но нельзя было отрицать, что непрошеное возвращение былых кумиров три недели назад повлекло его в публичную библиотеку, где с помощью читательского билета Ричарда Кэрэмела он выписал полдюжины книг по итальянскому Возрождению. То обстоятельство, что эти книги до сих пор лежали у него на столе в порядке доставки и увеличивали его финансовые обязательства на двенадцать центов за каждый день просрочки, никак не смягчало их немое свидетельство. Они были свидетелями его отступничества, облаченными в тканые и кожаные переплеты. Энтони пережил несколько часов острой и ошеломительной паники.

Первое место в оправдании его образа жизни, безусловно, занимал принцип «бессмысленности бытия». Адьютантами и министрами, пажам и сквайрами, дворецкими и лакеями этого великого Хана были сотни книг, поблескивавших на его полках, его квартира и все деньги, которые ему предстояло унаследовать после того, как старик, живущий выше по течению реки, захлебнется последними остатками своей нравственности. Он был счастливо избавлен от мира, преисполненного угроз от светских дебютанток и глупости многочисленных Джеральдин; скорее, ему следовало подражать кошачьей неподвижности Мори и с гордостью носить венец премудрости неисчислимых поколений.

Он снова и снова анализировал эти соображения и с утомительной настойчивостью возвращался к ним. Но даже логически избавившись от сомнений и храбро поправ их ногами, он тем не менее устремился через снежную ноябрьскую слякоть в библиотеку, где не было тех книг, которые ему больше всего хотелось получить. Для нас будет справедливо анализировать состояние Энтони не дальше, чем он сам мог его оценить; разумеется, любая более глубокая попытка была бы предположением. Он обнаружил в себе растущий ужас и одиночество. Сама мысль об одинокой трапезе пугала его; он часто предпочитал сидеть за столом с людьми, которых недолюбливал. Путешествия, которые некогда пленяли его, теперь казались невыносимыми; они были бессодержательной сменой цветов, призрачной гонкой за тенью его собственной мечты.

«Если я слаб по своей сути, то мне нужно заняться работой, делать какую-то работу», – думал он. Его тревожила мысль, что в конце концов он представляет собой посредственность, легко поддающуюся чужому влиянию, не обладающую ни четкой позицией Мори, ни энтузиазмом Дика. Казалось трагедией ничего не хотеть, однако он чего-то хотел, чего-то желал. Урывками он понимал, что это такое: некий путь надежды, ведущий к тому, что он представлял как неминуемую и грозную старость.

После коктейлей и ленча в Университетском клубе Энтони почувствовал себя лучше. Он встретился с двумя однокурсниками из Гарварда, и по контрасту с серой тяжестью их разговора его жизнь обрела цвет. Оба они были женаты; один в общих подробностях излагал описание своего свадебного путешествия под вежливые и понимающие улыбки другого. Энтони подумал, что оба они подобны мистеру Гилберту в зачаточном состоянии. Через двадцать лет количество их «да-да» учетверится, а нрав станет раздражительным, и тогда они превратятся в устаревшие сломанные механизмы, псевдоумудренные и бесполезные, до старческого слабоумия пребывающие под опекой женщин, которым они сами испортили жизнь.

Но он был выше всего этого, когда мерил шагами длинный ковер в холле после обеда, помедлив у окна, чтобы посмотреть на мельтешащую улицу. Он был Энтони Пэтчем – блестящим, притягательным, наследником многих людей и многих поколений. Теперь этот мир принадлежал ему, и последний мощный парадокс, который он жаждал раскрыть, находился уже недалеко.

С шальной ребячливостью он увидел в себе власть над землей; с дедовскими деньгами он воздвигнет собственный пьедестал и станет Талейраном, лордом Веруламским<sup>21</sup>. Ясность его ума, изощренность и разносторонний интеллект, достигшие зрелости и направляемые еще неведомой целью, найдут ему достойную работу. На этой минорной ноте его мечта потускнела: опять работа! Он попытался представить себя в Конгрессе, разгребаящим горы мусора в этом невероятном хлеву рядом с узколобыми и свиноподобными рылами, которые он иногда видел в разделах карикатур воскресных газет, вместе с этими просвещенными пролетариями, которые снисходительно делятся с народом идеями, больше подобающими ученикам старших классов. С маленькими людьми и их шаблонными амбициями, которые по своему убожеству задумали возвыситься над посредственностью и подняться на тусклый и унылый небосвод мирского правительства! А лучшие из них, полтора десятка ушлых прагматиков, эгоистичных и циничных, довольствовались правом руководить этим хором белых галстуков и проволочных запонок в нестройном и громогласном гимне, отягощенном смутной неразберихой между богатством как наградой за добродетель и богатством как доказательством порочности, с непрерывным восхвалением Бога, Конституции и Скалистых гор!

Лорд Веруламский! Талейран!

По возвращении в квартиру вернулась и будничная серость. Выпитые коктейли выветрились, сделав его сонным, озадаченным и угрюмым. Он – лорд Веруламский? Сама мысль об этом отдавала горечью. Энтони Пэтч без перечня достижений, без мужества, бессильный удовлетвориться истиной, когда она открывается ему. О, каким же он был претенциозным болваном, делавшим карьеру из коктейлей и тайно сожалеющим в своей слабости о крушении неполноценного и жалкого идеализма! Он приукрасил свою душу тончайшим вкусом, но теперь жаждал лишь старой рухляди. Он был пустым, пустым как забытая бутылка...

Раздался звонок в дверь. Энтони вскочил и приложил к уху слуховую трубку. Голос Ричарда Кэрэ-мела был шутивно-напыщенным:

– Мисс Глория Гилберт извещает о своем прибытии.

## Прекрасная дама

– Добрый день, как поживаете? – поинтересовался он, с улыбкой придерживая дверь. Дик поклонился.

– Глория, это Энтони.

– Отлично! – воскликнула она и протянула маленькую руку в перчатке.

Под меховым пальто проглядывало зеленовато-голубое платье с белым кружевным воротником, плотно собранным вокруг шеи.

– Разрешите взять ваши вещи.

Энтони вытянул руки и принял скользнувшую в них бурую меховую массу.

– Вот спасибо.

– Что ты думаешь о ней, Энтони? – бесцеремонно осведомился Ричард Кэрэмел. – Разве она не прекрасна?

---

<sup>21</sup> Намек на Фрэнсиса Бэкона, который был единственным лорд-канцлером среди баронов и графов Веруламских и имел право на титул лорда (*прим. перев.*).

– Ну и что? – вызывающе крикнула девушка, равнодушная к похвале.

Она была ослепительно свежей; постигнуть ее красоту с одного взгляда было мучительным испытанием. Ее волосы, наполненные небесным блеском, были ярким пятном в зимнем сумраке комнаты.

Энтони, словно фокусник, быстро переместился в другое место и включил грибовидный торшер, озаривший гостиную оранжевым сиянием. Языки ожившего пламени лизали блестящую медную решетку очага...

– Я превратилась в глыбу льда, – небрежно проворковала Глория. Ее глаза с изысканными радужками полупрозрачно-голубого цвета переходили с одного предмета на другой. – Какой приятный огонь! Мы нашли место, где можно было стоять на железной решетке, откуда шел теплый воздух, но Дик не хотел дожидаться там вместе со мной. Я сказала, чтобы он шел один, а мне и так хорошо.

Довольно любезное вступление. Казалось, она говорила без всяких усилий, ради собственного удовольствия. Энтони, сидевший на краю дивана, изучал ее профиль на фоне торшера; изящная, правильная линия носа и верхней губы, подбородок с намеком на решительность, красиво посаженный на не слишком длинной шее. На фотографии она должна была казаться холодной, как античная скульптура, но блеск волос и легкий румянец, игравший на щеках, делали ее самым живым человеком, которого ему приходилось видеть.

– ...подумала, что у вас лучшее имя, какое я слышала, – сказала она, судя по всему, по-прежнему обращаясь к себе. Ее взгляд на мгновение задержался на нем и перепорхнул дальше – на итальянские бра, похожие на ряд светящихся желтых черепашек на стене, потом на книжные полки, потом на своего кузена, стоявшего на другой стороне комнаты. – Энтони Пэтч. Только вам следовало походить на лошадь – такую, с узкой вытянутой мордой, – и носить лохмотья.

– Однако это все про Пэтча. А как должен выглядеть Энтони?

– Вы похожи на Энтони, – серьезно заверила она, хотя он подумал, что она почти не смотрела на него. – Довольно величавое и торжественное имя.

Энтони позволил себе смущенную улыбку.

– Но мне нравятся имена с аллитерациями, – продолжала она. – Все, кроме моего собственного. Оно звучит слишком вычурно. Я знала двух девушек по фамилии Джинкс, и они носили как раз такие имена, которые им больше всего подходили: Джуди Джинкс и Джерри Джинкс. Симпатично, правда? Вы так не думаете? – ее детские губы приоткрылись в ожидании возражения.

– В следующем поколении всех будут называть Питерами и Барбарами, поскольку сейчас все пикантные литературные персонажи носят имена Питер или Барбара, – предположил Дик.

Энтони продолжил его пророчество:

– Разумеется, имена Глэдис и Элеонор, которые представляли предыдущее поколение книжных героинь и сейчас переживают пору расцвета в светском обществе, в следующем поколении перейдут к продавщицам из магазинов...

– Вместо Эллы и Стеллы, – вмешался Дик.

– А также Перл и Джуэл, – пылко добавила Глория. – Вместе с Эрлом, Элмером и Минни.

– И тут на сцене появлюсь я, – заметил Дик. – Я возьму устаревшее имя Джуэл, наделю им оригинального и привлекательного персонажа, и оно начнет свою карьеру заново.

Ее голос подхватил нить беседы и вился дальше с едва заметными подъемами и полуплутивыми интонациями на концах фраз, словно преодолевая препятствия, – и с интервалами призрачного смеха. Дик сообщил ей, что слугу Энтони зовут Баундс, и она решила, что это прекрасно. Дик отпустил скучный каламбур насчет того, что Баундс занимается «лос-

кутной работой». Она заметила, что если есть что-то хуже каламбура, это человек, который при неизбежном возвращении к остроте награждает ее автора насмешливо-укоризненным взглядом.

– Откуда вы родом? – поинтересовался Энтони. Он знал, но ее красота сделала его неразумным.

– Канзас-Сити, штат Миссури.

– Ее выставили оттуда в то время, когда там запретили продажу сигарет, – сказал Дик.

– Они действительно запретили сигареты? Думаю, мой благочестивый отец приложил к этому руку.

– Мне стыдно за него.

– Мне тоже, – призналась она. – Я недолюбливаю реформаторов, особенно таких, кто пытается исправить меня.

– Их много?

– Десятки. «Ах, Глория, если ты будешь так много курить, то испортишь свой прекрасный цвет лица!» или «Ах, Глория, почему ты не выйдешь замуж и не устроишься на одном месте?»

Энтони с энтузиазмом согласился, хотя и гадал, кому хватило дерзости разговаривать подобным образом с такой девушкой.

– И потом, – продолжала она, – есть всякие хитроумные реформаторы, которые пересказывают разные дикие истории, которые они слышали о тебе, и говорят, что готовы защищать и поддерживать тебя.

Он наконец увидел, что ее глаза были серыми, очень спокойными и невозмутимыми, и когда они остановились на нем, он понял, что имел в виду Мори, когда называл ее очень молодой и одновременно очень старой. Она всегда говорила о себе, как мог бы говорить очаровательный ребенок, а замечания о ее предпочтениях или неприятных вещах были неприкрытыми и равнодушными.

– Должен признаться, даже я кое-что слышал о вас, – с серьезным видом сообщил Энтони.

Сразу же насторожившись, она выпрямила спину. Ее глаза, серые и вечные, как выветренный гранитный утес, встретились с его глазами.

– Расскажите, и я поверю. Я всегда верю тому, что другие люди говорят обо мне... а вы?

– Неизменно! – хором согласились оба.

– Ну, расскажите.

– Не уверен, что мне следует это делать, – с невольной улыбкой поддразнил Энтони.

Она была явно заинтересована и почти комично поглощена собственными мыслями.

– Он имеет в виду твое прозвище, – сказал ее кузен.

– Какое прозвище? – осведомился Энтони вежливо-озадаченным тоном.

Она мгновенно смутилась, но потом рассмеялась, откинулась на подушки и уставилась в потолок.

– Трансконтинентальная Глория, – ее голос лучился от смеха, такого же неопределенного, как многочисленные тени, игравшие между огнем и лампой на ее волосах.

Энтони все еще пребывал в недоумении.

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду *себя*. Так меня называют некоторые глупые мальчики.

– Понимаешь, Дик, она известна как путешественница, объездившая всю страну, – объяснил Дик. – Разве ты об этом не слышал? Ее так называют еще с семнадцати лет.

Взгляд Энтони стал печальным и шутивным одновременно.

– Кто этот Мафусаил в женском облике, которого ты привел сюда, Кэрэмел?

Она оставила его слова без внимания, возможно, даже обиделась на них, потому что вернулась к главной теме.

– Так что *вы* слышали обо мне?

– Кое-что о вашей внешности.

– Ясно, – с прохладным разочарованием отозвалась она. – И это все?

– Речь идет о вашем загаре.

– О моем загаре? – Теперь она казалась озадаченной. Ее рука поднялась к шее и на мгновение замерла там, как будто нащупывая варианты оттенков.

– Вы помните Мори Нобла? Мужчину, с которым вы встречались около месяца назад?

Вы произвели на него огромное впечатление.

Она немного подумала.

– Я помню... но он не приглашал меня к себе.

– Не сомневаюсь, что он просто боялся.

На улице было уже совсем темно, и Энтони сомневался, что его квартира вообще когда-либо выглядела унылой, – такими теплыми и дружелюбными были книги и картины на стенах, и старина Баундс, предлагавший чай из почтительной тени, и трое приятных людей, посылавших друг другу волны интереса и смеха, качавшиеся взад-вперед под радостное потрескивание огня в камине.

## Неудовлетворенность

Во второй половине дня во вторник Глория и Энтони пили чай в гриль-баре отеля «Плаза». Ее костюм с меховой оторочкой был серым – «когда носишь серое, то *приходится* больше краситься», – объяснила она, – а из-под маленькой шляпки без полей, заливчато сидевшей на ее голове, ниспадали волны пшеничных волос с золотистым отливом. При верхнем освещении ее индивидуальность казалась Энтони намного более кроткой. Она выглядела совсем молодой, не больше чем на восемнадцать лет; ее фигура в облегающем футляре, известном как юбка с перехватом ниже колен, была поразительно гибкой и стройной, а ее руки, не «артистичные», не коренастые, были просто маленькими, как и положено ребенку.

Когда они вошли, оркестр доигрывал вступление к матчишу, – мелодии, полной кастаньет и плавных, неуловимо-томных скрипичных гармоник, вполне соответствовавшей атмосфере зимнего бара с толпой восторженных студентов, находившихся в приподнятом настроении из-за близких праздников. Глория тщательно осмотрела несколько мест и, к некоторому разочарованию Энтони, кружным путем повела его к столику для двоих в дальнем конце помещения. Когда они пришли туда, она снова задумалась. Стоит ли ей сидеть справа или слева? Ее прекрасные глаза и губы хранили самое серьезное выражение, пока она делала выбор, и Энтони опять подумал о том, как она наивна во всех своих жестах; она считала, что все жизни принадлежит ей для выбора и предназначения, как будто постоянно разглядывала подарки для самой себя, разложенные на бесконечном прилавке.

Несколько секунд она отрешенно наблюдала за танцующими и отпускала тихие замечания, когда одна из пар проплывала мимо.

– Вот хорошенькая девушка в голубом, – и, когда Энтони послушно посмотрел в ту сторону, – там! Нет, у вас за спиной, – вон там!

– Да, – беспомощно согласился он.

– Вы ее не видели.

– Я предпочитаю смотреть на вас.

– Знаю, но она была хорошенькой. Правда, у нее толстые лодыжки.

– Что... То есть, правда? – равнодушно отозвался он.

Рядом протанцевала пара, откуда донеслось женское приветствие:

- Здравствуй, Глория! О, Глория!
- И тебе привет.
- Кто это? – спросил он.
- Не знаю. Кто-то, – она заметила другое лицо. – Привет, Мюриэл! – Она повернулась к Энтони: – Это Мюриэл Кейн. Думаю, она привлекательная, хотя и не слишком.
- Энтони одобрительно хмыкнул.
- Привлекательная, хотя и не слишком, – повторил он.
- Она улыбнулась, мгновенно заинтересованная его реакцией.
- Почему это забавно? – Ее тон был патетично напряженным.
- Просто так.
- Хотите потанцевать?
- А вы?
- Немного. Но давайте посидим, – решила она.
- И поговорим о вас? Вы любите говорить о себе, правда?
- Да. – Она рассмеялась, уличенная в тщеславии.
- Насколько я понимаю, ваша автобиография достойна классического романа.
- Дик говорит, что у меня нет биографии.
- Дик! – воскликнул он. – Что он знает про вас?
- Ничего. Но по его словам, биография любой женщины начинается с первого поцелуя, который имеет значение, и заканчивается с последним ребенком, который оказывается у нее на руках.
- Он цитирует собственную книгу.
- Он говорит, что у женщин, которых никто не любил, нет биографии, а есть лишь история.
- Энтони снова рассмеялся.
- Конечно же, вы не можете утверждать, что вас не любили!
- Полагаю, что так.
- Тогда почему у вас нет биографии? Разве вы никогда не получали поцелуя, который имел бы особое значение? – Как только слова сорвались с губ, он сделал судорожный вдох, словно пытаясь втянуть их обратно. Это же *ребенок!*
- Не понимаю, что вы имеете в виду под «особым значением», – неодобрительно сказала она.
- Мне хотелось бы знать, сколько вам лет.
- Двадцать два, – с серьезным видом ответила она, встретившись с его взглядом. – А вы как думали?
- Около восемнадцати.
- Пожалуй, я начну с этого. Мне не нравится быть двадцатидвухлетней; ненавижу это больше всего на свете.
- Ваш возраст? Двадцать два года?
- Нет. Когда стареешь и все остальное. Когда выходишь замуж.
- Вам никогда не хотелось замужества?
- Мне не нужна ответственность и вдобавок куча детей.
- Она явно не сомневалась, что в ее устах любые высказывания хороши. Затаив дыхание, он ждал ее следующего замечания и ожидал, что оно станет продолжением предыдущего. Она улыбалась, не шаловливо, но ласково, и, после небольшой паузы, несколько слов упало в пространство между ними.
- Мне хотелось бы мармеладных шариков.
- Сейчас! – Он подозвал официанта и отослал его к сигарному прилавку.

– Вы не возражаете? Я люблю мармеладные шарики. Все дразнят меня из-за этого, потому что я постоянно жую их... когда моего отца нет рядом.

– Вовсе нет. Кто эти дети? – вдруг спросил он. – Вы всех их знаете?

– В общем-то, нет, но они... полагаю, они отовсюду. Разве вы раньше не приходили сюда?

– Очень редко. Мне практически нет дела до «милых девушек».

Он сразу же завладел ее вниманием. Она отвернулась от танцующих, поудобнее устроилась на стуле и настоятельно спросила:

– А чем *вы сами* занимаетесь?

Благодаря коктейлю, вопрос был желанным для Энтони. Он находился в разговорчивом настроении и более того, хотел произвести впечатление на эту девушку, чей интерес казался мучительно-ускользающим. Она останавливалась, чтобы пощипать травку на неожиданных пастбищах, и торопливо пробегала мимо очевидных двусмысленностей. Ему же хотелось порисоваться. Внезапно он возжелал предстать перед нею в новом и героическом свете. Ему хотелось вывести ее из той поверхностности, которую она проявляла ко всему, кроме себя.

– Я ничем не занимаюсь, – начал он и сразу же понял, что в его словах не хватает того галантного изящества, которое он собирался вложить в них. – Я ничего не делаю, поскольку не могу сделать ничего стоящего.

– И что? – Он не удивил ее и даже не завладел ее вниманием, но она несомненно поняла его, если он вообще сказал что-либо достойное понимания.

– Вы не одобряете лентяев?

Она кивнула.

– Пожалуй, да, если они элегантны в своей лени. Это возможно для американца?

– Почему бы и нет? – в расстройстве спросил он.

Но ее разум уже оставил тему разговора и воспарил на десять этажей выше.

– Отец чрезвычайно сердит на меня, – бесстрастно заметила она.

– Почему? Но я хочу знать, почему американец не может быть изящно-ленивым, – его речь набирала обороты. – Это поразительно! Это... это... Я не понимаю, почему принято считать, что каждый молодой человек обязан отпраиваться в деловой центр и трудиться по десять часов в день лучшие двадцать лет своей жизни на скучной, прозаичной работе, разумеется, притом не бескорыстно.

Энтони замолчал. Она смерила его непроницаемым взглядом. Он ждал, когда она согласится или возразит ему, но она не сделала ни того ни другого.

– Вы когда-нибудь составляете мнение о вещах? – с некоторым раздражением спросил он.

Она покачала головой и снова посмотрела на танцовщиков, прежде чем ответить.

– Не знаю. Я не знаю ничего о том, что следует делать вам или кому-либо еще.

Она мгновенно смутила его и нарушила течение его мыслей. Самовыражение еще никогда не казалось таким желанным и таким невозможным.

– Ну, – извиняющимся тоном протянул он. – Разумеется, я тоже, но...

– Я просто думаю о людях, – продолжала она. – Думаю о том, как правильно они выглядят на своем месте и насколько хорошо они вписываются в общую картину. Я не против, если они ничего не делают. Не вижу, с какой стати; в сущности, меня всегда изумляет, когда человек что-то делает.

– Вы не хотите ничего делать?

– Я хочу спать.

Он испытал секундное замешательство, как будто она на самом деле собиралась задремать.

– Спать?

– Вроде того. Я просто хочу отдыхать, пока люди вокруг меня занимаются разными вещами, потому что так мне удобнее и надежнее... и я хочу, чтобы некоторые из них вообще ничего не делали, а только были любезными и дружелюбными со мной. Но я никогда не хочу изменять людей или волноваться из-за них.

– Вы оригинальная маленькая детерминистка. – Энтони рассмеялся. – Этот мир принадлежит вам, не так ли?

– Ну... – протянула она и быстро взглянула на него. – Разве не так? Пока я... молода.

Она немного помедлила перед последним словом, и Энтони заподозрил, что она собиралась сказать «красива». Несомненно, таким было ее намерение.

Ее глаза блестели, и он ждал, что она разовьет эту тему. Так или иначе, ему удалось вызвать ее на откровенность; он слегка наклонился вперед, чтобы лучше слышать.

Но она лишь сказала:

– Давайте потанцуем!

## Восхищение

Тот зимний день в «Плазе» был первым в череде «свиданий», которые Энтони назначал ей в суматошные дни перед Рождеством, сливавшиеся в одно размытое пятно. Ему понадобилось много времени, чтобы выяснить, какие области светской жизни города в особенности привлекали ее внимание. Казалось, для нее это почти не имело значения. Она посещала непубличные благотворительные балы в больших отелях; несколько раз видел ее на званых ужинах в «Шеррис»<sup>22</sup>, а однажды, когда он ждал, пока она одевалась, мистер Гилберт, вернувшись к привычке своей дочери «уходить, приходить и снова уходить», выболтал целую программу, включавшую полдюжины танцевальных вечеров, на которые Энтони получил приглашительные карточки.

Он несколько раз приглашал ее на ленч и на чай. Первый вариант – по крайней мере для него – был слишком скомканным и неудачным, поскольку она была сонной и рассеянной, не могла сосредоточиться ни на чем и не уделяла должного внимания его замечаниям. После двух таких бесцветных трапез, когда он обвинил ее том, что ему оставляют лишь кожу да кости, она от души посмеялась и три дня подряд разделяла с ним чайную церемонию. Это был гораздо более приятный опыт.

Как-то раз в воскресенье перед самым Рождеством он пришел к Глории и обнаружил ее в состоянии временного затишья после какой-то важной, но загадочной ссоры. Со смешанным гневом и удивлением она сообщила ему, что выставила мужчину из своей квартиры (тут Энтони принялся яростно гадать), что этот мужчина устраивает небольшой обед сегодня вечером, и что она, разумеется, не придет. Поэтому Энтони пригласил ее на ужин.

– Давайте куда-нибудь пойдём! – предложила она, когда они спускались на лифте. – Я хочу посмотреть представление, а вы?

Обращение в билетную кассу отеля выявило лишь два вечерних «концерта» в воскресенье.

– Они всегда одни и те же, – недовольно пожаловалась она. – Какие-то старые еврейские комеди. О, давайте куда-нибудь пойдём!

Скрывая тяжкое подозрение, что ему следовало бы организовать некое представление, которое бы ей понравилось, Энтони изобразил осведомленную жизнерадостность.

– Мы отправимся в хорошее кабаре.

– Я видела все кабаре в городе.

---

<sup>22</sup> «Шеррис» – знаменитый экстравагантный ресторан в Нью-Йорке, несколько раз переезжавший с места на место. Там устраивали костюмированные балы и однажды устроили обед для гостей на лошадях. Во время действия романа ресторан находился на 59-й улице (*прим. перев.*).

– Тогда мы найдем что-то новое.

Было очевидно, что она находится в скверном настроении. Ее серые глаза теперь приобрели гранитную твердость. Если она не говорила, то смотрела прямо перед собой, как будто видела какую-то безвкусную абстракцию в фойе отеля.

– Хорошо, тогда пойдете.

Он последовал за ней, сохранявшей изящество даже в меховой шубе, на стоянку такси, где с видом знатока велел водителю ехать на Бродвей, а потом повернуть на юг. Во время поездки он сделал несколько попыток завязать непринужденный разговор, но она облачилась в непроницаемую броню молчания и отвечала ему фразами, такими же угрюмыми, как холодный полумрак такси. Наконец он сдался и, приняв сходное настроение, погрузился в глухое уныние.

Через дюжину кварталов по Бродвею Энтони заметил большую и незнакомую вывеску с надписью «Марафон», выведенную объемными желтыми буквами и украшенную электрическими цветами и листьями, попеременно вспыхивавшими и освещавшими блестящий мокрый асфальт. Он наклонился, постучал в окошко такси и спустя несколько секунд получил информацию от темнокожего привратника. Да, это кабаре. Отличное кабаре. Лучшее шоу в городе, сэ-эр!

– Может, попробуем?

Глория со вздохом выбросила сигарету в открытую дверь и приготовилась выйти следом; потом они прошли под кричащей вывеской, под широкой аркой и поднялись в тесном лифте в этот невоспетый дворец удовольствий.

Пестрые обиталища самых богатых и самых бедных, блистательных щеголей и отъявленных злодеев, не говоря уже о недавно разрекламированных богемных кругах, известны трепетным старшекласницам из Августы, штат Джорджия, и Редвинга, штат Миннесота, не только по завораживающим разворотам воскресных театральных приложений и через шокированные и встревоженные публикации мистера Руперта Хьюджеса и других хроникеров «безумной Америки». Но вылазки Гарлема на Бродвей, неистовства скудоумных и кутежи респектабельных принадлежат к тайному знанию, известному лишь самим участникам действия.

Запускаются слухи, и в упомянутом месте по вечерам в субботу и воскресенье собираются представители низших нравственных классов – маленькие озабоченные мужчины, которых в комиксах изображают как «потребителей» или «публику». Они удостоверяются в том, что место соответствует трем критериям: оно дешевое; оно имитирует претенциозную и бездумную тоску по блистательным ужимкам первоклассных кафе в театральном районе; и, что важнее всего остального, – это место, где они могут «подцепить славную девочку». Последнее, разумеется, означает, что любая из таких девушек должна быть робкой, безобидной и скучной по причине отсутствия денег и воображения.

Там по воскресеньям собираются доверчивые, сентиментальные, низкооплачиваемые, загнанные люди с соответствующими профессиями: счетоводы, продавцы билетов, офисные менеджеры, продавцы, но прежде всего клерки – из курьерской службы, с почты, из продовольственных магазинов, из банков, из брокерских контор. Вместе с ними приходят хихикающие, жестикулирующие, патетично-жеманные женщины, которые толстеют рядом с ними, рожают слишком много детей и плывут, беспомощные и неудовлетворенные, по бесцветному морю каторжной работы и разбитых надежд.

Они называют такие низкопробные кабаре в честь пульмановских вагонов. «Марафон»! Непристойные аналогии, позаимствованные из парижских кафе, – это не для них. Сюда послушные завсегдатаи приводят своих «милых женщин», чье изнуренное воображение с готовностью верит, что сцена выглядит яркой и веселой, даже слегка аморальной. Это жизнь! Кому есть дело до завтрашнего дня?

Пропавшие люди!

Усевшись, Энтони и Глория огляделись вокруг. За соседним столиком к группе из четырех человек готовились присоединиться еще трое, двое мужчин и девушка, которые явно опаздывали. Манеры девушки могли бы послужить темой для исследования в области национальной социологии. Она знакомилась с новыми мужчинами и при этом ужасно жеманничала. Она делала неопределенные жесты, а словами и почти незаметными движениями век показывала, что принадлежит к несколько более высшему классу, чем ей подобает, что недавно она находилась, а в ближайшем времени еще будет находиться в более высокой и разреженной атмосфере. Она казалась почти болезненно рафинированной в шляпке прошлогодней моды, украшенной фиалками, не менее претенциозной и осязаемо искусственной, чем она сама.

Энтони и Глория зачарованно смотрели, как девушка садится и излучает впечатление единственно достойного и снисходительного присутствия. «Для *меня*, – говорили ее глаза, – это всего лишь ознакомительный визит в бедный район, о котором отзываются с пренебрежительным смехом и сдержанными извинениями».

...Между тем и другие женщины энергично создавали впечатление, что хотя они находятся в толпе, но не являются ее частью. Это было не то место, к которым они привыкли; они заглянули сюда лишь по причине близости и удобства. От всех компаний в ресторане исходило такое впечатление... но кто мог узнать? Они постоянно меняли положение в обществе: женщины часто выходили замуж за людей с более широкими возможностями, а мужчины в браке внезапно обретали сказочное богатство, – все в соответствии с нелепой рекламной задумкой, где с неба падает рожок с мороженым. Они приходили сюда поесть, закрывая глаза на экономию, проявляемую в нечастой перемене скатертей, в небрежности исполнителей и прежде всего в обиходной невнимательности и фамильярности официантов. Можно было не сомневаться, что клиенты не производили на них особого впечатления. Казалось, что они сами вот-вот рассядутся за столиками.

– Вы не возражаете против этого? – поинтересовался Энтони.

Лицо Глории смягчилось, и она улыбнулась впервые за этот вечер.

– Мне очень нравится, – искренне сказала она. Невозможно было усомниться в ее словах. Взгляд ее серых глаз перемещался в разных направлениях, сонный, праздный или внимательный, останавливаясь на каждой группе и переходя к следующей с нескрываемым удовольствием, так что Энтони мог видеть разные ракурсы ее профиля, изумительно живые выражения рта и подлинное отличие ее лица, форм и манер, делавшее ее одиноким цветком в коллекции дешевых безделушек. При виде ее радости волна ошеломительного чувства подступила к его глазам, перехватила дыхание, щекоткой пробежала по нервам и всколыхнулась в горле трепещущей, шероховатой нежностью. В зале послышалось шиканье. Беспечные скрипки и саксофоны, пронзительные жалобы ребенка поблизости, голос девушки в шляпке с фиалками за соседним столиком, – все это медленно отступило, истончилось и стихло, как сумрачные отражения на блестящем полу, и ему показалось, что они вдвоем остались наедине в бесконечно отдаленном и спокойном месте. Свежесть ее щек была тонкой проекцией из страны изящных, еще неведомых оттенков; ее рука, мягко сиявшая на запятанной скатерти, была раковиной из далекого, совершенно девственного моря...

Потом иллюзия лопнула, как паутина; комната сгруппировалась вокруг него вместе с голосами, лицами и движением; безвкусно-яркий свет ламп над головой стал зловещей реальностью; вернулось дыхание, медленное и монотонное, которое они разделяли с сотней тщедушных посетителей, – вздымающаяся и опадающая грудь, вечная и бессмысленная игра, взаимодействие, перебрасывание повторяющихся слов и фраз – все это выдернуло его чувства наружу, обнажило их перед удушающим давлением жизни... А потом он услышал ее голос, невозмутимый и далекий, как застывшая мечта, которую он оставил позади.

– Я часть этого, – прошептала она. – Мне нравятся эти люди.

На какое-то мгновение это показалось ему язвительным и ненужным парадоксом, брошенным ему через непреодолимое расстояние, которым она себя окружила. Ее заворожённость усилилась: она неотрывно смотрела на еврейского скрипача, который раскачивал плечами в ритме популярнейшего современного фокстрота:

Что-то льется, –  
Ринг-а-тинг-а-линг-а-линг, –  
Прямо тебе в уши...

Она снова заговорила, прямо из центра собственной всеобъемлющей иллюзии. Это потрясло его, словно кощунственное заявление из уст ребенка.

– Мне нравится, какие они, – похожие на японские фонари и гофрированную бумагу... и музыка этого оркестра.

– Вы просто молодая дурочка! – яростно запротестовал он.

Она покачала светловолосой головой.

– Нет, это не так. Я действительно похожа на них... Вы должны понять... Вы меня не знаете. – Она помедлила и перевела взгляд на него, резко посмотрев ему в глаза, как будто наконец удивилась его присутствию здесь. – У меня есть черта, которую вы бы назвали «дешевизной». Не знаю, откуда я получила ее, но это... ах, все подобные вещи, яркие цвета и кричащая вульгарность. Я как будто становлюсь частью этого. Эти люди могут ценить меня и воспринимать меня как должное, они могут влюбляться в меня и восхищаться мной, в то время как умные люди, с которыми я встречаюсь, просто анализируют меня, а потом рассказывают мне, что я такая-то из-за того или такая-то из-за этого.

На мгновение Энтони нестерпимо захотелось нарисовать ее, запечатлеть ее *сейчас*, как она есть, потому что в следующую секунду она уже никогда не будет такой.

– О чем вы думаете? – спросила она.

– О том, что я не реалист, – сказал он и добавил: – Нет, только романтик сохраняет вещи, достойные сохранения.

Где-то в глубокой изощренности Энтони сформировалось понимание, в котором не было ничего атавистического или смутного, в сущности, даже ничего физического, – понимание, хранившееся в романтических воспоминаниях многих поколений, что когда она говорила, встречалась с ним взглядом и поворачивала свою чудесную головку, она трогала его сердце так, как ничто не трогало раньше. Оболочка, содержавшая ее душу, обрела значение, и это было все, что важно. Она была солнцем, – растущим, сияющим, собирающим свет и хранившим его, – а потом, спустя целую вечность, изливавшим его в одном взгляде, в фрагменте предложения для той части его души, которая лелеяла всякую красоту и любую иллюзию.

## Глава 3

### Знаток поцелуев

Со старших курсов, будучи редактором «Гарвард Кримсон»<sup>23</sup>, Ричард Кэрэмел испытывал желание писать книги. Но будучи выпускником, он увлекся ложной иллюзией, согласно которой определенные люди предназначены для «служения» и, отправляясь в большой мир, должны совершить неопределенное великое деяние, которое приведет либо к вечному блаженству, либо, по меньшей мере, к удовлетворенному осознанию своего стремления к наибольшему благу для наибольшего количества людей<sup>24</sup>.

Этот неугомонный дух долго бродил по американским колледжам. Как правило, он берет начало с незрелых и поверхностных впечатлений на первом курсе или даже в подготовительной школе. Состоятельные проповедники, известные своим умением играть на чувствах, обходят университеты, запугивая дружелюбную паству, притупляя интерес и интеллектуальное любопытство, которые являются целью любого образования, и внедряют в умы таинственный догмат греховности, восходящий ко временам детских проступков и к вездесущей угрозе со стороны «женщин». Озорные юнцы, посещающие эти лекции, шутят и смеются над ними, но более робкие глотают вкусные пилюли, которые были бы безвредными для фермерских жен и благочестивых аптекарей, но весьма опасны в качестве лекарства для «будущих лидеров нации».

Этот спрут оказался достаточно силен, чтобы уловить в свои извилистые щупальца Ричарда Кэрэмела. На следующий год после окончания университета он вытащил его в трущобы Нью-Йорка, чтобы возиться с заблудшими итальянцами в должности секретаря «Ассоциации спасения иностранной молодежи». Он проработал там больше года, прежде чем рутинная работа начала утомлять его. Поток иностранцев был неисчерпаемым – итальянцы, поляки, скандинавы, чехи, армяне, – с одинаковыми заблуждениями и обидами, с одинаково безобразными лицами и почти с одинаковыми запахами, хотя он тешил себя мыслью, что за прошедшие месяцы их ароматы становились все более щедрыми и разнообразными. Его окончательные выводы о целесообразности «служения» были довольно расплывчатыми, но в том, что касалось его собственного отношения к делу, они были резкими и решительными. Любой доброжелательный молодой человек, наполненный звенящим рвением последнего крестового похода, мог достигнуть ровно таких же успехов с этими отбросами Европы... а для него пришло время заняться письменным творчеством.

Он жил в центральном общежитии Ассоциации христианской молодежи, но когда перестал выделывать кожаные бумажники из свиных ушей<sup>25</sup>, то поселился в верхней части города и сразу же устроился на работу репортером «Сан». Он держался за эту работу еще около года, изредка и без особого успеха публикуясь в других изданиях, а потом один неудачный инцидент преждевременно завершил его газетную карьеру. Февральским вечером ему поручили описание парада кавалерийского полка на Ист-Сайде. Под угрозой метели он отправился спать перед натопленным камином, а когда проснулся, то написал гладкую статью о приглушенном топоте лошадиных копыт по снегу... Его сочинение отправилось в печать. На следующий день копия статьи отправилась на стол редактору городских новостей с рукописным замечанием: «Уволить того, кто это написал». Как выяснилось, в кавалерий-

---

<sup>23</sup> «Гарвард Кримсон» – ежедневная студенческая газета Гарвардского университета, с 1873 года издаваемая студентами старших курсов (прим. перев.).

<sup>24</sup> Цитата из Иеремии Бентама (1748–1832), основоположника утилитаризма (прим. перев.).

<sup>25</sup> Парафраз афоризма Стивена Госсона (1579) – «кроить шелковые кошели из свиных ушей» (прим. перев.).

ском полку тоже видели предупреждение о снежном буране и отложили парад на следующий день.

Неделю спустя он приступил к работе над «Демоном-любовником».

В январе, первом из долгой череды месяцев, нос Ричарда Кэрэмела неизменно оставался синим, отливающим той же злобной синевой, что и языки пламени, лижущие грешников в преисподней. Его книга была почти готова, и по мере завершения трудов она как будто предъявляла к нему все более высокие требования, подавляя его и высасывая его силы, пока он не стал выглядеть изможденным и загнанным в ее тени. Он изливал свои надежды, похвалы и сомнения не только перед Энтони и Мори, но и перед любым человеком, которого мог заставить прислушаться к себе. Он встречался с любезными, но озадаченными издателями, обсуждал книгу со случайным собеседником в Гарвардском клубе; Энтони даже утверждал, что однажды воскресным вечером он услышал дискуссию о литературном переложении второй главы с начитанным билетером в холодном и мрачном закутке Гарлемской станции подземки. Последней наперсницей Дика была миссис Гилберт, которая просидела с ним целый час и чередовала интенсивный перекрестный огонь своих мнений между билфизмом и литературой.

– Шекспир был билфистом, – заверила она его с застывшей улыбкой. – О да, он был билфистом! Это доказанный факт.

Это немного ошарашило Дика.

– Если вы читаете «Гамлета», то не можете не видеть этого.

– Но... он жил в более легковверную эпоху... в более религиозную эпоху.

Однако миссис Гилберт не соглашалась на меньшее.

– Да, но билфизм – не религия. Это теоретическая основа всех религий! – Она вызывающе улыбнулась ему. Это было ее коронной фразой в оправдание своей веры. В расположении слов содержалось нечто настолько определенное и захватывающее для ее ума, что высказывание освобождалось от всякой необходимости в уточнении смысла. Вполне вероятно, что она приняла бы любую идею, облеченную в эту блестящую формулировку, которая, по сути дела, была не формулировкой, а *reduction ad absurdum*<sup>26</sup> всех остальных догматов.

Наконец наступил блистательный момент для выступления Дика.

– Вы слышали о новом поэтическом движении. Как, не слышали? В общем, многие молодые поэты отказываются от старых форм и делают массу хороших вещей. Так вот, я собирался сказать, что моя книга начнет новое прозаическое движение, нечто вроде Возрождения.

– Уверена, так и будет, – просияла миссис Гилберт. – Совершенно уверена. В прошлый вторник я отправилась к Дженни Мартин, известной хиромантке, по которой все просто с ума сходят. Я сообщила, что мой родственник трудится над книгой, и она сказала, что я буду рада услышать: его ждет *необыкновенный* успех. И ведь она никогда не видела тебя и ничего не знает о тебе – даже твоего имени!

Издав подобающие звуки, выразившие его изумление столь поразительным феноменом, Дик жестом подозвал эту тему к себе, как будто он временно исполнял обязанности дорожного полисмена и, так сказать, направлял собственное движение.

– Я совершенно поглощен работой, тетя Кэтрин, – заверил он. – Просто с головой ушел в нее. Все друзья подшучивают надо мной... ну да, я вижу юмор этой ситуации, но мне все равно. Думаю, человек должен уметь терпеть чужие шутки. Они лишь укрепляют мою убежденность, – угрюмо добавил он.

– Я всегда говорила, что у тебя древняя душа.

---

<sup>26</sup> Низведение до абсурда (лат.).

– Может быть, и так, – Дик достиг того состояния, когда он перестал бороться и подчинился чужому мнению. Его душа *должна* быть древней; в его представлении, доведенном до гротеска, она была такой старой, что прогнила насквозь. Однако мысленное повторение этой фразы смутно беспокоило его и нагоняло неприятный холодок на спину. Он решил смелее тему.

– Где моя именитая кузина Глория?

– Она куда-то с кем-то ушла.

Дик взял паузу и задумался, а потом, состроив гримасу, которая была задумана как улыбка, но превратилась в угрожающе-насупленный вид, высказал свое соображение.

– Думаю, мой друг Энтони Пэтч влюблен в нее.

Миссис Гилберт вздрогнула, лучезарно улыбнулась с секундным опозданием и выдохнула «В самом деле?» с интонациями заговорщического шепота.

– Я так *думаю*, – серьезно поправил Дик. – Насколько мне известно, она первая девушка, которую я видел в его обществе.

– Ну да, разумеется, – произнесла миссис Гилберт с тщательно продуманной небрежностью. – Глория никогда не делится со мной своими секретами. Она очень скрытная. Только между нами, – она осторожно наклонилась вперед, явно намереваясь, чтобы не только Небо, но и ее родственник услышал ее исповедь, – между нами, мне бы хотелось видеть, как она остепенится.

Дик встал и с энтузиазмом прошелся по комнате, – невысокий, подвижный, уже полнеющий молодой человек, неестественно засунувший руки в оттопыренные карманы.

– Имейте в виду, я не утверждаю, что абсолютно прав, – заверил он дешевую гостиничную хромгравюру, которая почтительно ухмыльнулась в ответ. – Я не говорю ничего, о чем не знала бы сама Глория. Но думаю, Неистовый Энтони заинтересован, – да, чрезвычайно заинтересован. Он постоянно говорит о ней. Для любого другого человека это было бы дурным знаком.

– Глория – очень молодая душа, – проникновенно начала миссис Гилберт, но родственник перебил ее торопливой фразой:

– Глория будет очень молодой дурочкой, если не выйдет за него замуж. – Он остановился и повернулся к собеседнице; ямочки и морщинки на его лице собрались в боевой порядок, выражавший крайнюю напряженность чувств, как будто он собирался искупить откровенностью любую нескромность своих слов. – Глория – сумасбродная девушка, тетя Кэтрин. Она совершенно неконтролируема. Не знаю, как у нее получается, но в последнее время она обзавелась множеством очень странных друзей. Ей как будто нет дела до этого. А мужчины, с которыми она гуляла по всему Нью-Йорку, были... – он замолчал, чтобы перевести дух.

– Да-да-да, – поддакнула миссис Гилберт в слабой попытке скрыть свой безмерный интерес.

– Ну вот, – сосредоточенно продолжал Ричард Кэрэмел. – Я хочу сказать, что мужчины, с которыми она раньше появлялась в обществе, принадлежали к высшей категории. Теперь не так.

Миссис Гилберт очень быстро заморгала. Ее грудь задрожала, увеличилась в объеме и какую-то секунду оставалась в таком положении, а потом она сделала выдох, и слова потоком полились из нее.

Она знала, шепотом восклицала она; о да, матери видят такие вещи. Но что она могла поделать? Он знает Глорию. Он видел достаточно, чтобы понять, как бесполезно даже пытаться урезонить ее. Глория так избалована, что с ней, наверное, уже ничего не поделаешь. К примеру, ее кормили грудью до трех лет, хотя тогда она бы уже могла разжевать и палку. Возможно, – никогда нельзя знать точно, – что это сделало ее такой здоровой и *выносливой*. А с двенадцати лет она начала собирать вокруг себя мальчиков, ох, такими толпами,

что не протолкнешься. В шестнадцать лет она начала ходить на танцы в подготовительных школах, а потом и в колледжах. И везде одно: мальчишки, мальчишки, мальчишки. Поначалу, ох, примерно до восемнадцати лет их было так много, что одни ничем не отличались от других, но затем она начала выбирать их.

Миссис Гилберт было известно о чередке романтических увлечений, растянувшейся примерно на три года, – пожалуй, их было около дюжины. Некоторые юноши были старшекурсниками, другие недавно закончили колледж: каждое знакомство в среднем продолжалось несколько месяцев, с короткими увлечениями в промежутке. Один или два раза знакомство было более длительным, и мать надеялась, что дело дойдет до помолвки, но каждый раз появлялся новый молодой человек... потом еще один...

Мужчины? Ох, она делала их несчастными в буквальном смысле слова! Нашелся только один, который сохранил определенное достоинство, но он был всего лишь ребенком, – юный Картер Кирби из Канзас-Сити, который в любом случае был настолько самодовольным, что в один прекрасный день уплыл от нее на парусах своего тщеславия, а на следующий день уехал в Европу со своим отцом. Другие имели жалкий вид. Казалось, они не понимали, когда она уставала от них, но Глория редко проявляла демонстративную неприязнь к своим ухажерам. Они продолжали звонить ей и писать письма, пытались встретиться с ней и совершали вслед за ней долгие поездки по стране. Некоторые из них исповедовались перед миссис Гилберт и со слезами на глазах говорили, что никогда не смогут забыть о Глории... хотя как минимум двое из них с тех пор стали женатыми людьми... Но Глория как будто разила их наповал; некий мистер Карстерс до сих пор звонил каждую неделю и присылал ей цветы, от которых она больше не трудилась отказываться.

Несколько раз – по меньшей мере дважды, насколько было известно миссис Гилберт, – дело доходило до неофициальной помолвки: с Тюдором Бэйрдом и с молодым Холкомом из Пасадены. Она была уверена, что так и было, поскольку (но это должно остаться между ними) она несколько раз приходила неожиданно и видела Глорию, которая вела себя так... в общем, как будто она и в самом деле была помолвлена. Разумеется, она не разговаривала об этом с дочерью. Ей свойственна определенная деликатность, и кроме того, она каждый раз ожидала, что о помолвке будет объявлено в ближайшие недели. Но объявление так и не появлялось; вместо этого появлялся новый мужчина.

О, эти сцены! Молодые люди, расхаживавшие взад-вперед по библиотеке, словно тигры в клетках! Молодые люди, пронзавшие друг друга взглядами в прихожей, когда один уходил, а другой приходил! Молодые люди, звонившие по телефону и оставленные в отчаянии перед повешенной трубкой! Молодые люди, угрожавшие отъездом в Южную Америку! Молодые люди, писавшие невероятно трогательные письма! (Она не стала вдаваться в подробности, но Дик предполагал, что миссис Гилберт видела некоторые из этих писем.)

...И Глория, мятущаяся между слезами и смехом, – радостная, сожалеющая, влюбленная и отстраненная, несчастная, нервная, невозмутимая, посреди великого возвращения даров и замены фотографий в бесчисленных рамках, проходящая очищение в горячей ванне и начинающая все сначала, с новым мужчиной.

Такое положение вещей устоялось и приобрело свойство неизменности. Ничто не могло повредить Глории, как-то изменить или тронуть ее. А потом, словно гром с ясного неба, она сообщила матери, что старшекурсники окончательно утомили ее. Она больше не собиралась ходить на танцы в колледжах.

Так начались перемены – не столько в ее привычках, ибо она продолжала танцевать и имела столько же «кавалеров», как и раньше, – но сама суть этих свиданий стала другой. Раньше это было нечто вроде гордыни, вопрос личного тщеславия. Пожалуй, она была самой прославленной и желанной юной красавицей во всей стране. Глория Гилберт из Канзас-Сити! Она безжалостно пользовалась этим, наслаждалась толпами поклонников и той

манерой, в которой наиболее желанные мужчины делали выбор в ее пользу, вызывая жгучую ревность со стороны других девушек. Она смаковала невероятные, если не скандальные, – хотя, как охотно признавала ее мать, – совершенно необоснованные слухи о себе, например, о том, что однажды она искупалась в бассейне Йельского университета в шифоновом вечернем платье.

Но после самовлюбленности, граничившей с мужским тщеславием, которая была сущностью ее триумфальной и ошеломительной карьеры, она вдруг стала равнодушна ко всему этому. Она ушла на покой. Она, блиставшая на бесчисленных вечеринках, элегантно перелегавшая из одного бального зала в другой, собирая дань множества нежных взоров, как будто утратила интерес к прежней жизни. Теперь тот, кто влюблялся в нее, оказывался безоговорочно и почти гневно отвергнутым. Она бесстрастно выходила в свет с самыми безразличными мужчинами. Она постоянно нарушала договоренности, и если в прошлом она испытывала холодную уверенность в своей неприступности и в том, что оскорбленный мужчина вернется к ней, как домашнее животное, то теперь она делала это равнодушно, без гордыни или презрения. Теперь она редко гневалась на мужчин; она зевала им в лицо. Матери казалось – и это было очень странно, – что ее дочь становится все более отстраненной и безучастной.

Ричард Кэрэмел слушал. Сначала он продолжал стоять, но по мере того, как рассуждения его тети наполнялись избыточным содержанием – здесь они представлены в наполовину сокращенном виде, без побочных упоминаний о юной душе Глории и душевных расстройств самой миссис Гилберт, – он пододвинул стул и сурово внимал ее словам, описывавшим долгую жизнь Глории в промежутках между слезами и беспомощными жалобами. Когда она дошла до истории уходящего года, истории об окурках, оставленных по всему Нью-Йорку в маленьких пепельницах с надписями «Полуночные забавы» или «Маленький клуб Юстины Джонсон», он начал кивать, сначала медленно, потом все быстрее, и наконец, когда она завершила свой монолог в темпе стаккато, его голова абсурдно болталась вверх-вниз, как у марионетки, выражая практически все, что угодно.

В некотором смысле прошлое Глории было знакомой историей для него. Он наблюдал за ней глазами журналиста, поскольку собирался когда-нибудь написать книгу о ней. Но в настоящее время его интерес был исключительно семейным. В частности, он хотел знать, кто такой Джозеф Блокман, которого он несколько раз видел вместе с ней, и две девушки, в обществе которых она постоянно находилась: «эта» Рейчел Джеррил и «эта» мисс Кейн. Несомненно, мисс Кейн не принадлежала к тем женщинам, с которыми Глории стоило бы общаться!

Но момент был упущен. Миссис Гилберт, достигшая вершины своего красноречия, быстро катилась к лыжному трамплину, за которым ждало крушение. Ее глаза были просветами голубого неба, заключенными в два круглых и красных оконных переплета. Ее губы мелко дрожали.

В этот момент дверь открылась и в комнату вошла Глория вместе с двумя юными дамами, о которых недавно шла речь.

## **Две молодые женщины**

– Ну, вот!

– Как поживаете, миссис Гилберт?

Мисс Кейн и мисс Джеррил были представлены мистеру Ричарду Кэрэмелу: «Это Дик» (смех).

– Я так много слышала о вас, – говорит мисс Кейн где-то между хихиканьем и восторженным вскриком.

– Как поживаете? – застенчиво спрашивает мисс Джеррил.

Ричард Кэрэмел пытается двигаться как человек с более грациозной фигурой. Он разрывается между природным радушием и собственным мнением об этих девушках как о заурядных особах, не похожих на выпускниц Фармингтонского колледжа.

Глория исчезает в спальне.

– Садитесь, пожалуйста, – мисс Гилберт, которая уже пришла в себя, широко улыбается. – Снимайте свои вещи.

Дик боится, что она отпустит какое-нибудь замечание о возрасте его души, но забывает о своих опасениях, углубившись в добросовестное авторское исследование двух молодых женщин.

Мюриэл Кейн выросла в преуспевающей семье из Ист-Оранжа. Она была скорее низенькой, чем маленькой, и отважно балансировала на грани между пухлостью и полнотой. Ее темные волосы были уложены в замысловатую прическу. Это обстоятельство, в сочетании с очаровательными коровьими глазками и чрезмерно красными губами, делало ее похожей на Теду Бару, известную актрису немого кино. Люди постоянно говорили, что она похожа на «вампиришу», и она верила им. Она затаенно верила, что они боятся ее, и в любых обстоятельствах изо всех сил старалась создать впечатление опасности. Человек с воображением мог видеть красный флаг, которым она все время размахивала с неистовой мольбой, но без заметного толку. Она также была невероятно современной; она знала буквально все новые песни, и когда одна из них звучала из фонографа, она вставала, поводила плечами взад-вперед и прищелкивала пальцами, как будто в отсутствие любой мелодии могла бы сама напеть ее.

Ее речь тоже была современной. «Мне все равно, – говорила она. – Если будешь беспокоиться, испортишь фигуру». И еще: «Не могу удержать свои ноги, когда слышу эту мелодию. Ох, боженьки!»

Ее ногти были слишком длинными и вычурными, отполированными до неестественно-розового блеска. Ее одежда была слишком тесной, яркой и шеголеватой, глаза – слишком кокетливыми, улыбка – слишком жеманной. Она выглядела едва ли не прискорбно аляповатой с головы до ног.

Другая девушка явно обладала более утонченным нравом. Это была изысканно одетая еврейка с темными волосами и приятной молочной бледностью. Она казалась нерешительной и застенчивой, и эти два качества подчеркивали ауру изящного очарования, окружавшую ее. Ее родители были членами «епископальной» церкви, владели тремя модными магазинами для женщин на Пятой авеню и жили в шикарной квартире на Риверсайд-драйв. Спустя несколько минут Дикуну показалось, что она пытается подражать Глории; его удивляло, что люди неизменно выбирают для подражания неподражаемых людей.

– Просто *жуткая* дорога! – с энтузиазмом восклицала Мюриэл. – За нами в автобусе сидела какая-то сумасшедшая. Она была абсАлютно, сАвершенно ненормальная! Бормотала себе под нос, что она хочет сделать с чем-то или с кем-то. Я прямо оцепенела, но Глория просто *не хотела* выходить.

Миссис Гилберт приоткрыла рот, выражая должное удивление.

– Правда?

– Да, сумасшедшая женщина. Мы беспокоились, что она бросится на нас. А как безобразна, боженьки! Мужчина напротив нас сказал, что с ее лицом нужно работать ночной сиделкой в приюте для слепых, и мы натурально *покатились* со смеху, так что он попытался приударить за нами.

Но тут Глория вышла из спальни, и все взгляды в унисон обратились к ней. Обе девушки отступили на задний план, – замеченные, но незаметные.

– Мы разговаривали о тебе, – быстро сказал Дик. – Я и твоя мама.

- Отлично, – сказала Глория.  
Наступила пауза. Мюриэл повернулась к Дику.  
– Вы великий писатель, не так ли?  
– Я писатель, – смущенно признался он.  
– Я всегда говорю, – убежденно произнесла Мюриэл, – что если у меня когда-нибудь будет время записать все свои переживания, то выйдет замечательная книга.  
Рейчел сочувственно хихикнула; поклон Ричарда Кэрэмела был почти величавым.  
– Но я не понимаю, как можно сесть и писать о чем-то, – продолжала Мюриэл. – А стихи? Боженьки, я не могу зарифмовать две строчки! И я должна беспокоиться об этом?  
Ричард Кэрэмел с трудом удержался от смеха. Глория жевала мармеладную тянучку и задумчиво глядела в окно. Миссис Гилберт откашлялась и лучезарно улыбнулась.  
– Видите ли, – сказала она тоном человека, предлагающего универсальное объяснение. – В отличие от Ричарда, у вас не древняя душа.  
«Древняя душа» облегченно вздохнула: все наконец объяснилось.  
Потом, словно она думала об этом последние пять минут, Глория внезапно объявила:  
– Я собираюсь устроить вечеринку.  
– Ой, можно мне прийти? – с наигранной дерзостью воскликнула Мюриэл.  
– Это будет званый обед. Семеро человек: Мюриэл, Рейчел и я... потом ты, Дик, Энтони и тот мужчина по фамилии Нобл – он мне понравился, – и еще Блокман.  
Мюриэл и Рейчел разразились тихими мурлычущими звуками, выразившими восторг и энтузиазм. Миссис Гилберт моргнула и просияла.  
– Кто такой этот Блокман, Глория? – с напускной небрежностью спросил Дик.  
Почуввав легкую враждебность, Глория повернулась к нему.  
– Джозеф Блокман? Он из киноиндустрии, вице-президент компании «Образцовое кино». Они с отцом ведут разные дела.  
– А!  
– Ну, так вы придете?  
Все согласились прийти. Дата была назначена на ближайшую неделю. Дик встал, надел шляпу, пальто и шарф и одарил всех общей улыбкой.  
– Пока-пока, – сказала Мюриэл и весело помахала ему. – Позвоните мне как-нибудь.  
Ричарду Кэрэмелу пришлось покраснеть за нее.

## Печальный конец шевалье О'Кифа

В понедельник Энтони пригласил Джеральдину Берк на ланч в «Боз-Ар», а потом они отправились к нему домой, где он выкатил столик на колесиках с запасами спиртного, выбрав вермут, джин и абсент по такому случаю.

Джеральдина Берк, работавшая в билетной кассе театра «Китс», была предметом его невинных забав последние несколько месяцев. Она требовала так мало, что он привязался к ней, так как после плачевного знакомства с дебютанткой высшего света предыдущим летом, когда он обнаружил, что после дюжины поцелуев от него ожидают предложения руки и сердца, он настороженно относился к девушкам из собственного круга. Было слишком легко обратить критичный взор на их несовершенства – некоторые физические шероховатости или недостаток личной деликатности, – но подход к билетерше из «Китса» не требовал строгого отношения. В общении с близкой прислужкой можно терпеть качества, которые были бы невыносимыми при обычном знакомстве на собственном социальном уровне.

Джеральдина наблюдала за ним прищуренными миндалевидными глазами, свернувшись в углу дивана.

- Ты все время пьешь, да? – внезапно спросила она.

– Наверное, – с некоторым удивлением отозвался Энтони. – А ты?  
– Ничего подобного. Я иногда хожу на вечеринки, не чаще раза в неделю, но выпиваю две-три порции. А вы с друзьями все время пьете. Можно подумать, вы губите свое здоровье.

Энтони был даже тронут.

– Как мило, что ты беспокоишься обо мне!

– Это правда.

– Я не так много пью, – заявил он. – За прошлый месяц я три недели не выпил ни капли.

А так я серьезно выпиваю не чаще раза в неделю.

– Но тебе каждый день нужно что-то выпить, а ведь тебе только двадцать пять лет. Разве у тебя нет честолюбия? Подумай, кем ты станешь в сорок лет!

– Я искренне верю, что не проживу так долго.

Он цокнула языком.

– Ты ненорма-альный! – произнесла она, когда он смешивал очередной коктейль, и тут же спросила: – А ты, случайно, не родственник Адама Пэтча?

– Да, он мой дед.

– Правда? – Она явно оживилась.

– Абсолютная правда.

– Как забавно. Мой папа работал у него.

– Он чудной старик.

– Он привередливый?

– Пожалуй, в личной жизни он редко бывает сварливым без необходимости.

– Расскажи о нем.

– Ну... – Энтони подумал. – Он весь ссохся, а остатки его седой шевелюры выглядят так, словно там погулял ветер. Он большой поборник нравственности.

– Он сделал много добра, – с пылкой серьезностью сказала Джеральдина.

– Чушь! – фыркнул Энтони. – Он благочестивый осел с куриными мозгами.

Она легко оставила эту тему и перепорхнула на следующую.

– Почему ты не живешь с ним?

– А почему я не столуюсь в доме методистского пастора?

– Ты ненорма-альный!

Она снова тихо цокнула языком, выражая неодобрение. Энтони подумал о том, насколько добродетельна в душе эта маленькая беспризорница и какой добродетельной она останется даже после того, как неизбежная волна смоеет ее с зыбучих песков респектабельности.

– Ты ненавидишь его?

– Сомневаюсь. Я никогда не любил его; нельзя любить тех, кто тебя опекает.

– А он ненавидит тебя?

– Моя дорогая Джеральдина, – Энтони шутливо нахмурился. – Прошу, выпей еще один коктейль. Я раздражаю его. Если я выкурю сигарету, он заходит в комнату и начинает принохиваться. Он зануда, педант и в общем-то лицемер. Вероятно, я бы не сказал тебе об этом, если бы не принял несколько порций, но полагаю, это не имеет значения.

Джеральдина упорствовала в своем интересе. Она держала нетронутый бокал между большим и указательным пальцем и мерила его взглядом, в котором угадывался благоговейный страх.

– Что ты имеешь в виду, когда называешь его лицемером?

– Возможно, он не лицемер, – нетерпеливо сказал Энтони. – Но ему не нравятся вещи, которые нравятся мне, поэтому в том, что касается меня, он неинтересный человек.

– Хм. – Казалось, Джеральдина наконец удовлетворила свое любопытство. Она откинулась на диванную подушку и отпила из бокала.

– Ты забавный, – задумчиво произнесла она. – Все хотят замуж за тебя, потому что твой дедушка богат?

– Они не хотят... но я не стал бы их винить, если бы они хотели. Правда, видишь ли, я не собираюсь жениться.

Она пренебрегла его мнением.

– Когда-нибудь ты влюбишься. Я знаю, так и будет, – она глубокомысленно кивнула.

– Глупо быть чрезмерно уверенным. Это погубило шевалье О'Кифа.

– Кто он такой?

– Создание моего великолепного разума. Шевалье – это моя креатура.

– Ненорма-альный! – мило промурлыкала она, воспользовавшись нескладной веревочной лестницей, с помощью которой она преодолевала расщелины и карабкалась вслед за умственно превосходящими собеседниками. Она неосознанно чувствовала, что это устраняет расстояния и сближает ее с человеком, чье воображение ускользает от ее восприятия.

– О нет! – возразил Энтони. – Нет, Джеральдина, ты не должна играть в психиатра из-за шевалье О'Кифа. Если тебе кажется, что ты не в силах понять его, я не стану рассказывать о нем. Кроме того, я испытываю некоторую неловкость из-за его прискорбной репутации.

– Думаю, я могу понять все, что имеет какой-то смысл, – с ноткой раздражения ответила Джеральдина.

– Тогда в жизни моего рыцаря есть несколько эпизодов, которые могут оказаться увлекательными.

– Например?

– Именно его безвременная кончина заставила меня размышлять о нем и счесть его персону уместной для нашего разговора. Мне жаль, что приходится начинать знакомство с ним с самого конца, но представляется неизбежным, что он войдет в твою жизнь задом наперед.

– Так что с ним? Он умер?

– Ну да! Что-то в этом роде. Он был ирландцем, Джеральдина, наполовину вымышленным ирландцем необузданного рода, с благородным выговором и «рыжей шевелюрой». Он был изгнан из Эрина<sup>27</sup> в конце рыцарской эпохи и, разумеется, уплыл во Францию. Подобно мне, Джеральдина, шевалье О'Киф имел одну слабость: он был необыкновенно чувствителен к всевозможным женским уловкам. Он был сентиментальным романтиком, самолюбивым и самодовольным, человеком буйных страстей, подслеповатым на один глаз и почти совершенно слепым на другой. Мужчина, блуждающий по свету, почти так же беспомощен, как беззубый лев, поэтому наш шевалье за двадцать лет стал совершенно несчастным из-за множества женщин, которые ненавидели его, использовали его, надоедали ему, огорчали его, досаждали ему, тратили его деньги и выставляли его дураком, – короче, как принято говорить, любили его.

Это было плохо, Джеральдина. Поскольку за исключением единственной слабости – этой самой чрезмерной впечатлительности – наш шевалье был человеком решительным, он решил раз и навсегда избавиться от изнурительных расходов. С этой целью он отправился в прославленный монастырь в Шампани под названием... известный под анахроничным названием аббатства Св. Вольтера. Там имелось правило, согласно которому ни один монах не мог спуститься на нижний этаж до конца своей жизни, но должен был проводить свои дни в молитвах и размышлениях в одной из четырех башен, названных в честь четырех заповедей монастырского устава: Бедность, Воздержание, Послушание и Молчание.

Настал день, когда шевалье О'Кифу предстояло распрощаться с суетным миром, он был совершенно счастлив. Он отдал все греческие книги своей домовладелице, отослал свой

---

<sup>27</sup> Эрин – древнее кельтское название Ирландии (прим. перев.).

меч в золотых ножнах королю Франции, а все свои памятные вещи из Ирландии подарил молодому гугеноту, который торговал рыбой на улице, где он жил.

Потом он поскакал в аббатство Св. Вольтера, убил свою лошадь у дверей и подарил тушу монастырскому повару.

В пять часов вечера он впервые почувствовал, что освободился от полового влечения. Ни одна женщина не могла войти в монастырь, и ни один монах не имел права спуститься ниже второго этажа. Поэтому, когда он поднимался по винтовой лестнице, ведущей в его келью на самой вершине башни Воздержания, то ненадолго остановился у открытого окна, выходящего на дорогу в пятидесяти футах внизу. Он думал о том, как прекрасен мир, который он покидает: золотистый солнечный дождь, льющийся на поля, пена древесных крон в отдалении, тихие зеленые виноградники, свежесть и простор, раскинувшийся перед ним на много миль. Он облокотился на оконный переплет и смотрел на извилистую дорогу.

Случилось так, что Тереза, шестнадцатилетняя крестьянка из соседней деревни, в тот момент проходила по дороге перед монастырем. Пятью минутами раньше кусочек ленты, поддерживавший чулок на ее прелестной левой ножке, совсем износился и лопнул. Будучи редкостной скромницей, девушка решила дождаться, пока она придет домой, прежде чем взяться за починку, но спущенный чулок так сильно мешал ей, что она больше не могла терпеть. Поэтому, проходя мимо башни Воздержания, она остановилась и изящно приподняла юбку, – к ее чести нужно заметить, что совсем чуть-чуть, – чтобы поправить подвязку.

Новоиспеченный послушник, стоявший в башне старинного аббатства Св. Вольтера, высунулся из окна, как будто вытянутый огромной и неодолимой рукой. Он высовывался все дальше и дальше, пока один из камней вдруг не поддался под его весом, оторвался от кладки с тихим шорохом, и – сначала головой вперед, потом ногами вниз, и наконец, мощным и впечатляющим кувырком – шевалье О'Киф устремился навстречу грешной земле и вечному проклятию.

Этот случай так сильно расстроил Терезу, что она бежала всю дорогу до дома и следующие десять лет по одному часу в день возносила тайную молитву за душу монаха, чья шея и чьи обеты были одновременно переломаны в то злополучное воскресенье.

А шевалье О'Кифа, которого заподозрили в самоубийстве, похоронили не в освященной земле, но закопали на ближайшем поле, где он, без сомнения, еще много лет улучшал качество почвы. Такова была безвременная кончина очень храброго и галантного джентльмена. Ну, Джеральдина, что ты думаешь по этому поводу?

Но Джеральдина, давно утратившая нить повествования, лишь шаловливо улыбалась, грозила ему указательным пальцем и повторяла свое универсальное объяснение.

– Ненормальный! – говорила она. – Ты ненорма-альный!

Она думала о том, что его худощавое лицо довольно доброе, а его глаза довольно нежные. Энтони нравился ей, поскольку он был высокомерен без самодовольства, а еще потому, что, в отличие от мужчин в театре, он совершенно не любил привлекать к себе внимание. Что за странная, бессмысленная история! Но ей понравилась та часть, где говорилось о спущенном чулке!

После пятого коктейля он поцеловал ее, и они провели еще час между смехом, озорными ласками и наполовину сдерживаемыми вспышками страсти. В половине пятого она объявила о предстоящей встрече и удалилась в ванную, чтобы привести в порядок волосы. Она не позволила ему заказать такси для нее и задержалась у двери перед уходом.

– Ты *обязательно* женишься, – убежденно сказала она. – Подожди и увидишь.

Энтони играл со старым теннисным мячиком и несколько раз аккуратно постучал им по полу, прежде чем ответить.

– Ты маленькая дуручка, Джеральдина, – сказал он, подпустив в свой тон немного язвительности.

– Ах, вот как? Хочешь поспорить?

– Это тоже глупо.

– Ага, и это тоже? Хорошо, тогда держу пари, что ты на ком-нибудь женишься в течение года.

Энтони с особенной силой стукнул об пол теннисным мячиком. Она подумала, что сегодня у него хороший день; меланхоличное выражение его темных глаз сменилось некоторой оживленностью.

– Джеральдина, – наконец сказал он. – Во-первых, у меня нет никого, на ком я хотел бы жениться; во-вторых, у меня не хватает денег, чтобы обеспечить двоих людей; в-третьих, я решительно против брачных отношений с людьми моего типа; в-четвертых, я испытываю сильную неприязнь даже к абстрактным размышлениям об этом.

Но Джеральдина лишь понимающе прищурилась, снова цокнула языком и сказала, что ей пора идти. Уже поздно.

– Позвони мне в ближайшее время, – напомнила она, когда он целовал ее на прощание. – В прошлый раз ты не звонил три недели подряд.

– Обязательно позвоню, – с жаром заверил он.

Энтони закрыл дверь, вернулся в гостиную и какое-то время стоял, затерявшись в мыслях, с теннисным мячиком в руке. На него в очередной раз нахлынуло одиночество; в таких случаях он бродил по улицам или сидел за письменным столом в бесцельном унынии, покупая карандаш. Это была безутешная поглощенность собой, стремление к самовыражению, не находившее выхода, ощущение времени, неустанно и расточительно проходящего мимо, смягчаемое лишь убежденностью в том, что ничто не пропадает впустую, так как все усилия и достижения в равной мере бесполезны.

Его мысли прорывались в чувствах, громогласных и гневных, ибо он был обижен и растерян.

– Даже *не думал* о женитьбе, боже ты мой!

Внезапно он с силой швырнул теннисный мяч через комнату, где тот едва не задел лампу, отскочил от стены, попрыгал и замер на полу.

## Солнечный свет и лунное сияние

Для званого обеда Глория забронировала стол в «Каскадах»<sup>28</sup> отеля «Билтмор». Когда мужчины встретились в холле в начале девятого, «тот самый Блокман» попал под прицел трех пар мужских глаз. Он был полнеющим, румяным евреем около тридцати пяти лет с выразительным лицом под гладко зачесанными соломенными волосами. Без сомнения, на большинстве деловых совещаний его внешность сочли бы располагающей. Он не спеша подошел к трем молодым людям, которые стояли отдельной группой и курили в ожидании хозяйки вечера, и представился со слегка преувеличенной самоуверенностью. Можно усомниться, воспринял ли он ответную реакцию в виде легкой и ироничной холодности; во всяком случае, это никак не отразилось на его манерах.

– Вы родственник Адама Дж. Пэтча? – осведомился он у Энтони, выпустив в сторону две узкие струйки дыма из ноздрей.

Энтони признал это с призрачной улыбкой.

– Он замечательный человек, – с серьезным видом провозгласил Блокман. – Прекрасный образец американца.

– Да, – согласился Энтони. – Определенно, это так.

---

<sup>28</sup> «Каскады» – большой бальный зал на 22-м этаже старого отеля «Билтмор». Существовал до 1981 года (*прим. перев.*).

«Ненавижу таких недоделанных мужчин, – холодно подумал он. – У него вареный вид! Его следовало бы вернуть обратно в духовку; подержать еще минуту, и будет достаточно».

Блокман взглянул на часы.

– Девушкам пора бы появиться...

...Энтони ждал затаив дыхание и дождался:

– ...хотя, впрочем, – с широкой улыбкой, – вы же знаете, каковы эти женщины.

Трое молодых людей кивнули. Блокман небрежно огляделся по сторонам; его взгляд критически остановился на потолке, потом скользнул ниже. Выражение его лица сочетало физиономию фермера со Среднего Запада, оценивающего урожай пшеницы, и мину актера, задающегося вопросом, наблюдают ли за ним в этот момент, – публичную манеру всех добпорядочных американцев. Завершив осмотр, он быстро повернулся к сдержанной троице, вознамерившись нанести удар в самое сердце их бытия.

– Вы из колледжа?... Гарвард, да. Как я понимаю, парни из Принстона обыграли вас в хоккеей.

Бедняга. Он вытащил еще один пустой номер. Они закончили университет три года назад и с тех пор интересовались только значительными футбольными матчами. Трудно сказать, что после неудачи с этой тирадой мистер Блокман оказался бы в циничной атмосфере, потому что...

Появилась Глория. Появилась Мюриэл. Появилась Рейчел. После торопливого «Общий привет!», брошенной Глорией и эхом подхваченного ее спутницами, они удалились в гардеробную.

Минуту спустя появилась Мюриэл в старательно полураздетом состоянии и *крадучись* направилась к ним. Она находилась в своей стихии. Ее черные волосы были гладко зачесаны на затылок, глаза подведены темной тушью; она источала густой аромат духов. Это было венцом ее способностей в образе сирены, или, проще говоря, «женщины-вамп», подбирающей и выбрасывающей мужчин, беспринципно и совершенно равнодушно играющей с чужими чувствами. Что-то в исчерпывающей полноте ее попытки с первого взгляда зачаровало Мори: женщина с широкими бедрами, изображающая грациозную пантеру! Пока они еще три минуты ждали Глорию и (по вежливому предположению) Рейчел, он не мог оторвать глаз от нее. Она отворачивала голову, опускала ресницы и покусывала нижнюю губу в изумительной демонстрации застенчивости. Она клала руки на бедра и покачивалась из стороны в сторону в такт музыке, приговаривая:

– Вы когда-нибудь слышали такой безупречный регтайм? Я не могу совладать со своими плечами, когда это слышу.

Мистер Блокман любезно похлопал.

– Вам следует выступить на сцене.

– Мне бы хотелось! – воскликнула Мюриэл. – Вы поддержите меня?

– Обязательно.

Мюриэл с подобающей скромностью прекратила свои телодвижения и повернулась к Мори с вопросом, что он «видел» в этом году. Он истолковал это как обращение к миру драматургии, и между ними завязался оживленный обмен мнениями и названиями, выглядевший примерно так:

МЮРИЭЛ: Вы видели «Сердце на привязи»?

МОРИ: Нет, не видел.

МЮРИЭЛ (*с жаром*): Это замечательно! Вы должны посмотреть!

МОРИ: А вы видели «Омара-палаточника»?

МЮРИЭЛ: Нет, но слышала, что это замечательно. Очень не терпится посмотреть. А вы видели «Женщину и грелку»?

МОРИ (*оптимистично*): Да.

МЮРИЭЛ: По-моему, скверная пьеска.

МОРИ (*слабо*): Да, правда.

МЮРИЭЛ: Но вчера вечером я смотрела «По закону» и решила, что это чудесно. А вы видели «Маленькое кафе»?<sup>29</sup>

Это продолжалось до тех пор, пока они не исчерпали список постановок. Между тем Дик, повернувшись к мистеру Блокману, решил извлечь то золото, которое он мог намыть из этой малообещающей россыпи.

– Я слышал, что все новые романы предлагаются киностудиям сразу же после выхода в свет.

– Это правда. Разумеется, главная вещь в кинокартине – это сильный сценарий.

– Полагаю, что так.

– Во многих романах полно отвлеченных разговоров и психологии. Естественно, они не имеют для нас особой ценности. Большую часть из них нельзя интересно представить на экране.

– В первую очередь вам нужны сюжеты, – сказал Дик, осененный гениальной догадкой.

– Ну конечно, сюжеты в первую... – он помедлил и посмотрел в сторону. Пауза затянулась и распространилась на всех остальных, властная, как поднятый палец. Из гардеробной вышла Глория в сопровождении Рейчел.

Наряду с другими вещами за обедом выяснилось, что Джозеф Блокман никогда не танцевал, но проводил время танцев, наблюдая за остальными с утомленной снисходительностью пожилого человека среди детей. Он был гордым и представительным мужчиной. Родившись в Мюнхене, он начал свою карьеру в Америке с торговли вразнос арахисом при странствующем цирке. В восемнадцать лет он работал зазывалой в балагане, потом стал управляющим балагана, а вскоре после этого владельцем второсортного варьете. Когда кинематография вышла из стадии курьезной новинки и превратилась в многообещающую индустрию, он был амбициозным мужчиной двадцати шести лет с кое-какими средствами для вложения капитала, высокими материальными устремлениями и хорошими рабочими познаниями в области популярного шоу-бизнеса. Киноиндустрия вознесла его туда, откуда она низвергла десятки людей с большими финансовыми способностями, более развитым воображением и большим количеством практических идей... Теперь он сидел здесь и созерцал бессмертную Глорию, ради которой молодой Стюарт Холком ездил из Нью-Йорка в Пасадену, – он наблюдал за ней и знал, что вскоре она перестанет танцевать и усядется по левую руку от него.

Он надеялся, что она поторопится. Устрицы уже несколько минут стояли на столе.

Тем временем Энтони, усаженный по левую руку от Глории, танцевал с ней, всегда строго в определенной четверти бального зала. Это – в том случае, если бы рядом оказались кавалеры без дам, – было деликатным намеком: «Не влезай, куда не просят, черт побери!» Такая близость была выбрана совершенно осознанно.

– Сегодня вечером вы выглядите чрезвычайно привлекательно, – начал он, глядя на нее.

Она встретила его взгляд через полфута, разделявшие их по горизонтали.

– Спасибо... Энтони.

– В сущности, вы так красивы, что испытываешь неловкость, – добавил он, на этот раз без улыбки.

– А вы весьма обаятельны.

---

<sup>29</sup> Суть в том, что Мюриэл говорит о популярных мелодрамах, а Мори – о комедии положений и трагифарсе (*прим. перев.*).

– Разве это не замечательно? – Он рассмеялся. – Мы, фактически, апробуруем друг друга.

– А разве вы обычно этого не делаете? – Она быстро ухватила за его замечание, как всегда делала при любом необъясненном намеке на себя, даже самом легком.

Он понизил голос, а когда заговорил, то в его тоне угадывался лишь отзвук добродушной насмешки.

– Разве священник апробурует папу римского?

– Не знаю... но, наверное, это самый невнятный комплимент, который я когда-либо слышала.

– Пожалуй, я смогу измыслить пару банальностей.

– Не хочу напрягать вас. Посмотрите на Мюриэл! Вон там, рядом с нами.

Он бросил взгляд через плечо. Мюриэл положила свою сияющую щеку на лацкан смокинга Мори Нобла, а ее напудренная левая рука обвилась вокруг его затылка. Оставалось лишь гадать, почему она не догадалась обнять его за шею. Ее глаза, устремленные в потолок, закатывались вверх-вниз; ее бедра раскачивались в танце, и она все время тихо напевала. Сначала это казалось переводом песни на какой-то иностранный язык, но потом стало ясно, что это попытка заполнить песенную ритмику единственными словами, которые она знала, – словами из названия:

Он старьевщик, старьевщик,  
Он собирает регтайм,  
Он собирает старье, собирает регтайм,  
Он собирает, старье, собирает...<sup>30</sup>

...и так далее, все более странными и примитивными фразами. Когда она ловила довольные взгляды Энтони и Глории, то отвечала лишь слабой улыбкой с полузакрытыми глазами, показывая, что музыка льется ей прямо в душу и приводит ее в состояние экстатического восторга.

Музыка отзвучала, и они вернулись к столу, где одинокий, но исполненный достоинства клиент встал и предложил им занять свои места с такой любезной улыбкой, словно он пожимал им руки и благодарил за блестящее представление.

– Блокхэд<sup>31</sup> никогда не танцует! Думаю, у него деревянная нога, – заметила Глория, обращаясь к собравшимся в целом. Трое молодых людей вздрогнули, а джентльмен заметно скривился.

Это было главным чувствительным местом в отношениях между Блокманом и Глорией: она все время подшучивала над его именем. Сначала она называла его «Блокгаузом», а в последнее время перешла на более обидный вариант «Блокхэд». Он с завидной выдержкой и иронией настаивал на том, чтобы она обращалась к нему по имени, и она несколько раз послушно делала это... но затем с покаянным смехом возвращалась к «Блокхэду», не в силах совладать с собой.

Это было очень прискорбно и легкомысленно.

– Боюсь, мистер Блокман считает нашу компанию распушенной, – вздохнула Мюриэл, махнув в его сторону ловко подцепленной устрицей.

– Он производит такое впечатление, – прошептала Рейчел. Энтони попытался вспомнить, говорила ли она что-либо раньше, и решил, что нет. Это была ее первая реплика.

---

<sup>30</sup> Мюриэл исполняет композицию Ирвинга Берлина «He's a rag-picker» о пианисте, который подбирает на клавишах мелодию регтайма (*прим. перев.*).

<sup>31</sup> Blockhead – болван, тупица (*англ.*).

Мистер Блокман внезапно кашлянул и произнес громким, проникновенным голосом:  
– Как раз наоборот. Когда говорит мужчина, он лишь соблюдает традицию. За ним, в лучшем случае, стоит несколько тысяч лет истории. Но женщина – это дивный рупор нашего потомства.

В потрясенной тишине, наступившей за этим поразительным заявлением, Энтони вдруг подавился устрицей и торопливо закрыл лицо салфеткой. Рейчел и Мюриэл отреагировали сдержанным, немного удивленным смехом, к которому присоединились Дик и Мори, оба с покрасневшими лицами от едва сдерживаемого хохота.

«Боже мой! – подумал Энтони. – Это же субтитры к одному из его фильмов. Он просто запомнил их!»

Только Глория не издала ни звука. Она устремила на мистера Блокмана тихий укоризненный взгляд.

– Ради бога, откуда вы это выкопали?

Блокман неуверенно взглянул на нее, пытаясь угадать ее намерение. Но секунду спустя он восстановил равновесие и нацепил на лицо иронично-снисходительную улыбку интеллектуала в окружении избалованной и неискушенной молодежи.

Из кухни принесли суп, но одновременно с этим дирижер оркестра вышел из бара, где он настраивал тембр с помощью кружки пива. Поэтому суп остался остывать на столе во время исполнения баллады под названием «Все осталось в доме, кроме вашей жены».

Затем подали шампанское, и вечеринка приобрела более непринужденный характер. Мужчины, за исключением Ричарда Кэрэмела, пили без стеснения; Глория и Мюриэл осушили по бокалу; Рейчел Джеррил воздержалась. Они пропускали вальсы, но танцевали под остальные мелодии, – все, кроме Глории, которая как будто немного устала и предпочитала сидеть за столом с сигаретой. Ее взгляд становился то ленивым, то оживленным в зависимости от того, слушала ли она Блокмана или наблюдала за хорошенькой женщиной среди танцующих. Несколько раз Энтони гадал, о чем ей рассказывает Блокман. Он перекачивал сигару во рту и после обеда настолько разоткровенничался, что позволял себе энергичные, даже бурные жесты.

В десять вечера Глория и Энтони приступили к очередному танцу. Когда они оказались за пределами слышимости от стола, она тихо сказала:

– Дотанцуем до двери. Я хочу спуститься в аптеку.

Энтони послушно направил ее через толпу в указанном направлении; в холле она ненадолго оставила его и вернулась с пальто, перекинутым через руку.

– Мне нужны мармеладные шарики, – объяснила она шутливо-извиняющимся тоном, – и вы не догадаетесь, зачем на этот раз. Мне хочется обкусывать ногти, и я буду это делать, если не достану мармеладные шарики. – Она вздохнула и снова заговорила, когда они вошли в пустой лифт: – Я постоянно кусаю их, – видите ли, я немного кусачая. Прошу прощения за остроту. Она неумышленная, просто так сложились слова. Глория Гилберт, женщина-юморист.

Оказавшись внизу, они простодушно обошли стороной кондитерскую стойку отеля, спустились по широкой парадной лестнице, миновали несколько проходов и нашли аптеку в здании Центрального вокзала. После тщательного осмотра витрины с ароматическими средствами она совершила покупку. Потом, повинувшись взаимному невысказанному порыву, они рука об руку направились не туда, откуда пришли, а на Сорок Третью улицу.

Вечер журчал ручейками талой воды; было так тепло, что ветерок, дующий над тротуаром, вызвал у Энтони видение нежданной весны с цветущими гиацинтами. Наверху, в продолговатом объеме темно-синего неба, и вокруг них, в ласкающих прикосновениях воздуха, иллюзия нового времени года приносила освобождение от душной и давящей атмосферы, которую они покинули, и в какой-то приглушенный момент звуки уличного движения

и тихий шепот воды в сточных желобах показались призрачным и разреженным продолжением той музыки, под которую они недавно танцевали. Энтони заговорил с уверенностью в том, что его слова исходят от чего-то заповедного и желанного, порожденного этим вечером в их сердцах.

– Давайте возьмем-таки и немного покатаемся! – предложил он, не глядя на нее.

О, Глория, Глория!

Дверь такси широко зевнула у тротуара. Когда автомобиль отчалил, как лодка в лабиринтообразном океане, и затерялся в зыбкой массе темных зданий посреди то тихих, то резких криков и перезвонов, Энтони обнял девушку, привлек ее к себе и поцеловал ее влажные, детские губы.

Глория молчала. Она повернула к нему лицо, бледное под пятнами и проблесками света, скользившими по стеклу, как лунное сияние сквозь листву. Ее глаза были мерцающей рябью на белом озере ее лица; тени ее волос окаймляли лоб пеленой наступающих сумерек. Там не было никакой любви, не было даже отражения любви. Ее красота была прохладной, как напоенный влагой ветерок, как влажная мягкость ее собственных губ.

– В этом свете вы так похожи на лебедя, – прошептал он через какое-то время.

Периоды тишины были такими же шелестящими, как звуки. Казалось, паузы были готовы вот-вот разбиться, но возвращались в забвение его руками, которые теснее смыкались вокруг нее, и ощущением, что она покоится там, как пойманное легкое перышко, прилетевшее из тьмы. Энтони рассмеялся, беззвучно и ликующе, подняв голову и отвернувшись от нее, наполовину поддавшись непреодолимому торжеству, наполовину опасаясь, что его вид нарушит великолепную неподвижность его черт. Такой поцелуй был подобен цветку, поднесенному к лицу, неописуемый и почти не поддающийся запоминанию, как будто ее красота излучала собственные эманации, которые мимолетно проникли в его сердце и уже растворялись в нем.

...Здания отдалились в растаявших тенях; они уже проезжали Центральный парк, и спустя долгое время огромный белый призрак музея Метрополитен величественно проплыл мимо, звучным эхом отзываясь на шум мотора:

– Глория! Ну же, Глория!

Ее глаза смотрели на него из тысячелетней дали. Любые чувства, которые она могла испытывать, все слова, которые она могла бы произнести, казались неуместными по сравнению с уместностью ее молчания, косноязычными по сравнению с красноречием ее красоты... и ее тела рядом с ним, грациозного и холодного.

– Велите ему повернуть назад, – прошептала она, – и пусть как можно быстрее едет обратно...

Атмосфера в обеденном зале была горячей. Стол, усеянный салфетками и пепельницами, казался старым и несвежим. Они вернулись между танцами, и Мюриэл Кейн смерила их необыкновенно проказливым взглядом.

– Ну, где же вы были?

– Позвонили матери, – невозмутимо ответила Глория. – Я обещала, что сделаю это. Мы пропустили танец?

Затем произошел инцидент, сам по себе незначительный, но подаривший Энтони причину для размышлений на много лет вперед. Джозеф Блокман, далеко откинувшись на спинку стула, уставился на него особенным взглядом, в котором странно и нерасторжимо сплелись самые разные чувства. Глорию он приветствовал лишь легким подъемом из-за стола и сразу же вернулся к разговору с Ричардом Кэрэмелом о влиянии литературы на кинематограф.

## Магия

Неожиданное и абсолютное чудо ночи таяло вместе с медленной смертью последних звезд и преждевременным рождением первых мальчишек-газетчиков. Пламя вернулось в далекий платонический очаг; белый жар покинул железо, угли подернулись золой.

Вдоль полок библиотеки Энтони, заполнявших всю стену, крался холодный и дерзкий пучок солнечного света, с леденящим неодобрением касавшийся Терезы Французской, Суперженщины Энн, Дженни из Восточного балета, Зулейки-Заклинательницы и Кору из Индианы<sup>32</sup>. Потом, скользнув ниже и углубившись в прошлое, он с сожалением остановился на неуспокоенных тенях Елены, Таис, Саломеи и Клеопатры.

Энтони, вымытый и побритый, сидел в своем самом глубоком кресле и наблюдал за движением света, пока восходящее солнце не задержалось на мгновение на шелковых кистях ковра и не двинулось дальше.

Было десять часов утра. Листы «Санди таймс», разбросанные у его ног, ротогравюрами и передовицами, общественными откровениями и спортивными таблицами провозглашали о том, что за последнюю неделю мир совершил громадный шаг по направлению к некой блистательной, хотя и довольно неопределенной цели. Со своей стороны, Энтони за это время успел один раз побывать у своего деда, дважды у своего брокера, трижды у своего портного, а в последний час последнего дня недели он поцеловал очень красивую и обаятельную девушку.

После возвращения домой его воображение было переполнено возвышенными и незнакомыми мечтами. В его разуме неожиданно не осталось вопросов или вечных проблем для решения и разрешения. Он испытывал чувство, которое не было ни духовным, ни физическим, ни сочетанием того и другого, и любовь к жизни сейчас наполняла его вплоть до исключения всего остального. Он довольствовался тем, чтобы этот эксперимент оставался отдельным и единственным в своем роде.

Он был почти беспристрастно убежден, что ни одна женщина из тех, кого он встречал до сих пор, ни в чем не могла сравниться с Глорией. Она была неповторимой и безмерно искренней, – в этом он был уверен. Рядом с ней две дюжины школьниц и дебютанток, молодых замужних женщин, беспризорниц и бесприданниц, которых он знал, были *самками* в самом презрительном смысле слова, носительницами и производительницами, до сих пор источающими слабые ароматы пещеры и яслей.

До сих пор, насколько он мог понять, она не подчинялась его желаниям и не тешила его тщеславие, – разве что ее удовольствие в его обществе само по себе было утешением. У него не было причин думать, что она дала ему нечто, чего не давала другим. Так и следовало быть. Мысль о романе, вырастающем из одного вечера, была столь же несбыточной, как и невыносимой. Она отреклась от случившегося и похоронила этот инцидент с несправедливой решимостью. Речь шла о двух молодых людях с достаточным воображением, чтобы отличать игру от реальности, которые самой случайностью своего знакомства и небрежностью его продолжения гарантировали свое благополучие.

Порешив на этом, он пошел к телефону и позвонил в отель «Плаза».

Глории не было на месте. Ее мать не знала, куда она ушла и когда вернется.

Именно в этот момент он впервые ощутил превратность своего положения. В отсутствии Глории ощущалось нечто черствое, почти непристойное. Он заподозрил, что своим уходом она заманила его на невыгодную позицию. Вернувшись домой, она обнаружит его

---

<sup>32</sup> Тереза Французская – героиня романа Эмиля Золя «Тереза Ракен» (1867); Суперженщина Энн – Энн Уайтфилд из пьесы Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек» (1903); Зулейка-Заклинательница – героиня «Зулейки Добсон» Макса Бирбома (1911); Кора из Индианы – героиня пьесы «Кларенс» Бута Таркингтона (1919) – (прим. перев.).

имя и улыбнется. Какое благоразумие! Ему следовало бы подождать несколько часов, чтобы осознать абсолютную нелогичность, с которой он рассматривал вчерашний случай. Что за тупая ошибка! Она подумает, что он считает себя наделенным особыми привилегиями. Она решит, что он с неуместной интимностью реагирует на совершенно тривиальный эпизод.

Он вспомнил, что в прошлом месяце его уборщик, которому он прочел довольно сумбурную лекцию о «мужском братстве», явился на следующий день и, на основе вчерашней лекции, расположился на подоконнике для сердечной получасовой беседы. Энтони с содроганием подумал, что Глория будет относиться к нему так, как он относился к этому человеку. К нему, Энтони Пэтчу! Ужас!

Ему никогда не приходило на ум, что он был пассивной вещью, подверженной влиянию далеко за пределами Глории, что он был всего лишь светочувствительной пластинкой, на которую ложится фотографический отпечаток. Какой-то великанский фотограф сфокусировал камеру на Глории, и, – щелк! – бедная пластинка не могла не проявиться, ограниченная своей природой, как и все остальные вещи.

Но Энтони, лежавший на диване и смотревший на оранжевый торшер, неустанно ерошил узкими пальцами свои темные волосы и изобретал новые символы проходящего времени. Сейчас она была в магазине, грациозно двигаясь между бархатами и мехами, ее платье жизнерадостно шуршит в мире шелковистых шорохов, прохладных смешков и ароматов множества убитых, но еще живущих цветов. Минни и Перл, Джуэл и Дженни собираются вокруг нее, как придворные фрейлины, несущие легкие полосы креп-жоржета, тонкий пастельный шифон в тон оттенку ее щек, молочное кружево, которое будет в бледном кипении покоиться вокруг ее шеи... Парча в наши дни использовалась лишь для одеяний священнослужителей и обивки диванов, а самаркандский атлас сохранился лишь в воспоминаниях поэтов-романтиков.

Скоро она пойдет куда-то еще, наклоня голову сотней способов под сотней шляпок в тщетном поиске фальшивых вишеночек под блеск ее губ или плюмажей, столь же изящных, как ее гибкое тело.

Потом наступит полдень, и она поспешит вдоль Пятой авеню, как северный Ганимед, – полы мехового пальто изысканно отлетают в стороны в такт ее походке, щеки алеют от прикосновений ветра, дыхание легким паром оседает в бодрящем воздухе, – и двери «Рица» поворачиваются, толпа раздается в стороны, и пятьдесят мужских взглядов устремляются к ней, когда она возвращает позабытые мечты мужьям множества тучных и комичных женщин.

Час дня. Орудя вилкой, она терзает сердце восторженного артишока, пока ее спутник пичкает себя невнятными тягучими речами человека, пребывающего в состоянии экстаза.

Четыре часа: ее ножки движутся в ритме мелодии, лицо четко выделяется в толпе; ее партнер счастлив, как обласканный щенок, и безумен, как достопамятный шляпник. Потом... потом опускается вечер и снова поднимается влажный ветерок. Неоновые вывески льют свет на улицу. Кто знает? Может быть, поддавшись такому же порыву, как и вчера, они попробуют воссоздать картину из полусвета и теней, которую он видел на притихшей авеню прошлым вечером? Ах, они могут, они могут! Тысяча такси будет раскрывать двери на тысяче углов, и лишь для него тот поцелуй останется навеки утраченным. В тысяче обличей Таис будет подзывать такси и поднимать лицо для ласки. И ее бледность будет девственной и чарующей, а ее поцелуй – целомудренным, как луна...

Энтони возбужденно вскочил на ноги. Как некстати, что ее нет дома! Он наконец понял, чего хочет: снова целовать ее, обрести покой в ее неподвижности и безмятежности. Она была концом любого беспокойства, любого недовольства.

Энтони оделся и вышел на улицу, как ему следовало поступить уже давно. Он отправился к Ричарду Кэрмелу, где выслушал последний вариант заключительной главы

«Демона-любовника». Он не позвонил Глории до шести вечера. Он так и не нашел ее до восьми вечера, и – о, кульминация всех разочарований! – она разрешила ему встретиться с ней лишь во вторник после полудня. Отломанный кусок бакелита со стуком упал на пол, когда он грохнул на рычаг телефонную трубку.

## Черная магия

Вторник выдался морозный. Энтони пришел к Глории в два часа промозглого дня, и когда они пожимали друг другу руки, растерянно подумал, целовал ли он ее вообще. Это казалось почти невероятным; он всерьез сомневался, что она помнила об этом.

– В воскресенье я четыре раза звонил вам, – сказал он.

– Вот как?

В ее голосе звучало удивление, выражение лица выглядело заинтересованным. Он молча проклял себя за то, что сказал об этом. Он мог бы знать, что ее гордости нет дела до таких мелких триумфов. Даже тогда он не догадывался об истине – о том, что, никогда не беспокоясь насчет мужчин, она редко пользовалась осторожными ухищрениями, отговорками и заигрываниями, которые были расхожим товаром у ее сестер по полу. Когда ей нравился мужчина, это само по себе было уловкой. Если бы она думала, что любит его, это было бы последним и смертельным ударом. Ее очарование всегда сохранялось неизменным.

– Мне не терпелось увидеть вас, – просто сказал он. – Я хочу поговорить с вами, – то есть на самом деле поговорить там, где мы можем остаться наедине. Можно?

– Что вы имеете в виду?

Он сглотнул комок в горле, охваченный внезапной паникой. У него возникло ощущение, что она знает, чего он хочет.

– Я хочу сказать, не за чайным столиком, – произнес он.

– Ну хорошо, но не сегодня. Я хочу немного проветриться. Давайте погуляем!

На улице было холодно и промозгло. Вся ненависть, заключенная в безумном сердце февраля, выплеснулась наружу в порывах ледяного ветра, жестоко прокладывавшего путь через Центральный парк и по Пятой авеню. Было почти невозможно разговаривать, и дискомфорт настолько отвлекал внимание Энтони, что когда он повернул на Шестьдесят Первую улицу, то обнаружил, что ее больше нет рядом. Он огляделся по сторонам. Она находилась в сорока футах позади и стояла неподвижно. Ее лицо было наполовину скрыто за меховым воротником, искаженное то ли гневом, то ли смехом, – Энтони не мог разобрать, что это было. Он пошел обратно.

– Не прекращайте прогулку из-за меня! – крикнула она.

– Я ужасно извиняюсь, – смущенно отозвался он. – Я иду слишком быстро?

– Мне холодно, – заявила она. – Я хочу домой. И да, вы идете слишком быстро.

– Прошу прощения.

Бог о бок они двинулись к отелю «Плаза». Ему хотелось видеть ее лицо.

– Мужчины обычно не так поглощены собой, когда находятся в моем обществе.

– Мне правда жаль.

– Это очень интересно.

– Действительно, сейчас слишком холодно для прогулок, – быстро сказал он, чтобы скрыть досаду на себя.

Глория не ответила, и Энтони задался вопросом, не попросается ли она с ним у входа в отель. Она молча дошла до лифта и удостоила его лишь одной фразой, когда двери открылись.

– Вам лучше подняться наверх.

Он на секунду замешкался.

– Возможно, мне будет лучше зайти в другой раз.

– Как скажете, – тихо сказала она в сторону. Нынешняя главная забота для нее заключалась в поправлении выбившихся прядок волос перед зеркалом в лифте. Ее щеки разругались, глаза сверкали: она никогда не казалась такой прелестной и изысканно-желанной.

Исполненный презрения к себе, он обнаружил, что идет по коридору десятого этажа, почтительно держась в полутора футах от нее, а потом стоит в гостиной, пока она исчезла, чтобы избавиться от мехов. Что-то пошло не так, и он потерял частицу достоинства в собственных глазах; он потерпел абсолютное поражение в непреднамеренной, но важной схватке. Он хотел прийти, и он пришел. Однако то, что случилось впоследствии, нужно свети к унижению, которое он испытал в лифте. Девушка нестерпимо беспокоила его – так сильно, что, когда она вышла, он невольно перешел в критическую атаку.

– Кто такой этот Блокман, Глория?

– Деловой знакомый моего отца.

– Странный тип!

– Вы ему тоже не нравитесь, – с внезапной улыбкой сказала она.

Энтони рассмеялся.

– Я польщен этим предупреждением. Очевидно, он считает меня... – Он замялся и вдруг спросил: – Он влюблен в вас?

– Не знаю.

– Не может быть, что не знаете, – настаивал он. – Разумеется, влюблен. Помню, как он посмотрел на меня, когда мы вернулись к столу. Наверное, он бы напустил на меня толпу из массовки, если бы не ваша выдумка с телефонным звонком.

– Он не обиделся. Потом я рассказала ему, что случилось на самом деле.

– Вы ему рассказали!

– Он попросил меня.

– Мне это не слишком нравится, – пожаловался Энтони.

Она снова рассмеялась.

– Ах, вот как?

– Какое ему до этого дело?

– Никакого. Поэтому я и рассказала ему.

Энтони в смятении жестко прикусил губу.

– С какой стати я должна лгать? – откровенно спросила она. – Я не стыжусь ничего, что я делаю. Ему было интересно знать, целовалась ли я с вами, а у меня тогда было хорошее настроение, поэтому я удовлетворила его любопытство простым и недвусмысленным «да». Но, будучи по-своему здравомыслящим человеком, он оставил эту тему.

– Только сказал, что ненавидит меня.

– О, это вас беспокоит? Ну, если вам угодно исследовать этот колоссальный вопрос до самых глубин, то он не говорил, что ненавидит вас. Мне это и так ясно.

– Меня это не...

– Ах, довольно! – пылко воскликнула она. – Мне это совершенно не интересно.

С огромным усилием Энтони согласился сменить тему, и они перешли к старинной игре в вопросы и ответы относительно своего прошлого, постепенно воодушевляясь по мере того, как обнаруживали стародавние, проверенные временем черты сходства во вкусах и идеях. Они говорили о вещах, более показательных, чем их намерения, но каждый делал вид, что принимает слова собеседника за чистую монету.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.